

В.Л.Тарский

Год в наморднике
От Кенигсберга до Чойбалсана
В зоне спецпереселения

Об авторе

В.Л. Тарский принадлежит поколению, названному И.Г. Эренбургом «недневниковым». Не только время не располагало к откровенности, но и личная биография Владимира не предполагала такой возможности. Он родился в 1925 г.; в 1937 г. были арестованы его родители, в 1939 г. он сам, ученик 6 класса московской школы, стал политзаключенным. Потом отправка на фронт, Германия, Монголия... Работать начинал в Таджикистане.



Но после смерти Владимира Леонидовича в 2005 году среди его бумаг оказались дневники, которые он вел всю жизнь. Поскольку каждое свидетельство бесценно, дополняя наше представление о времени, мы благодарны Инге Вениаминовне Канцеровской, давшей разрешение сделать доступными для посетителей нашего сайта часть его воспоминаний: «От Кенигсберга до Чойболсана» (хроника последних боев в Восточной Пруссии, грандиозной передислокации армии на Дальний Восток и демобилизации) и «В зоне спецпереселения» (работа на машинотракторной станции на юге Таджикистана московского инженера, откликнувшегося на призыв Хрущева в 1953 г.).

Год в наморднике

Памяти моих дорогих тётушек

Софьи Яковлевны и

Розы Яковлевны посвящаю

Несмотря на обилие несчастий и трагедий, затронувших меня лично, мою семью, наш народ и все человечество в течение более семи десятков последних лет минувшего столетия, я на финише дней своих остаюсь с верой и надеждой на светлое будущее большинства жителей земли на всех континентах. Мое особое желание, чтобы счастье не обошло моих бесконечно любимых внуков. Надеюсь, что воспоминания об уроках моей жизни помогут им найти наиболее ясные и правильные пути в жизни и избежать хотя бы некоторых ошибок.

Недавно в средствах информации промелькнуло сообщение о том, что молодой человек, зажатый жизненными обстоятельствами, забрался внутрь узла убирающегося шасси рейсового самолета и отправился в Италию поправлять свое материальное положение. Он не учел отсутствие герметизации – недостаток кислорода и арктический холод, с которыми ему предстояло встретиться на высоте. В результате - задохнувшийся, замороженный труп был обнаружен при осмотре самолета после возвращения его на московский аэродром.

Этот незаметный эпизод напомнил мне сходный образ моих мыслей шестидесятилетней давности, когда обуреваемый мыслями и желаниями свершений я отправился на войну за свободу и независимость истекающей кровью Испании. Финал был не столь трагичен, как у путешественника в Италию, но, может быть, более поучителен. Это событие подтолкнуло меня к окончанию одной из частей воспоминаний, которые я хочу оставить своим внукам не в назидание, а для размышления.

В конце тридцатых годов на нашу семью обрушился шквал несчастий. Первой жертвой стал мой отец Леонид Тарский, который жил тогда в Воронеже и совмещал работу заместителя начальника политотдела Юго-Восточной железной дороги с обязанностями ответственного редактора дорожной газеты «Вперед». С отцом жили мой старший сводный брат Лева и молодая жена – Анна Васильевна Руднева. Отец был арестован 17 декабря 1936 года, о чем маме сообщил Лева, заехавший в Москву. 13 мая 1937 г. отец был осужден «за антисоветскую агитацию и незаконное хранение оружия» на 10 лет лишения свободы. По данным Главного информационного центра МВД РФ отец «умер в заключении 10 января 1938 г., а где неизвестно». Брата я видел в тот его приезд в Москву в последний раз. Анна Васильевна осталась на всю мою жизнь в памяти милой ласковой женщиной, которая во время моих поездок в Воронеж постоянно уделяла мне внимание и находила время заниматься со мною музыкой. Более шестидесяти лет прошло, а я помню песню, которую она разучивала со мной «...чайки плачут, а моряк не плачет никогда...». После ареста отца она вскоре вышла замуж за военного, родила дочь Евгению, развелась, переехала в Москву, где благополучно проживала и уже в восьмидесятые годы скончалась, будучи профессором Гнесинского института. С

ней я встречался после демобилизации, но о судьбе отца она ничего сообщить мне не могла, хотя и выразила сочувствие и обещала помощь.

Следующей жертвой стал мой отчим, Вениамин Люлькин. В это время он жил в г. Калинин, где после образования Калининской области работал управляющим областной конторой «Заготзерно». Арест произошел 30 марта 1937 г., а 16 июля 1937 года его осудили на 10 лет лишения свободы «за вредительство и участие в антисоветской троцкистской организации».

Дальше тучи начали стремительно сгущаться над мамой. В сентябре она получила извещение об «уплотнении в связи с арестом мужа». Мама подала протест в суд, ссылаясь на наличие троих детей. Суд определил незаконность ее претензий, а 3 ноября к нам явились два молодых человека с ордером на обыск и арест - события развивались с космической скоростью. На следующий день мама была осуждена Особым совещанием при НКВД СССР «как член семьи изменника родины к заключению в исправительных лагерях сроком на 8 лет». Во время обыска меня удивило, что молодые люди ничего не искали. А просто переключивались с места на место и тщательно переписывали наше имущество. Переписано было все, включая поломанную кукольную кровать, детские книжки и игрушки. Так как понятой - дворник был неграмотным, протокол обыска за него предложили подписать мне. Маму увезли первой. Была уже глубокая ночь, когда меня и моих сестер - пятнадцатилетнюю Витю и шестилетнюю Ингу, попросили одеться и спуститься вниз. У подъезда стоял легковой газик, на котором мы отправились в путешествие по новой жизни.

Нас привезли в Свято-Данилов монастырь, где в то время размещался приемник-распределитель для «малолетних преступников». Эти преступники были разделены на две категории, изолированные друг от друга колючей проволокой. Одну часть составляли дети, родители которых были арестованы по политическим мотивам, другую - малолетние правонарушители, задержанные милицией. Поля нашего пребывания не пересекались.

Мамина сестра, наша тетя Соня от знакомых узнала, куда помещают детей арестованных по 58 статье родителей, и сумела вскоре заполучить нас к себе домой. Сравнительно короткое пребывание в монастыре запомнилось тем, что мы жили в теплых чистых комнатах, где казарменными рядами стояли кровати. Нас хорошо кормили и ежедневно водили на прогулку на задний двор, где среди куч мусора были свалены различные дорожные указательные знаки. Помню, что самостоятельно выходить из помещения мы не могли, нас проводили в столовую и на прогулку мимо забора из колючей проволоки, за которой находились юные арестанты «второй группы» и наш проход сопровождали их дружные выкрики: троцкисты, шпионы, изменники... Помню также, как в первую ночь, когда нас привезли из дома, мы, до размещения в палатах, были подвергнуты полной процедуре регистрации уголовников, включая анкетирование, фотографирование в фас и в профиль и снятие отпечатков пальцев. Эта «игра» очень понравилась маленькой Инге. Помню окружавшие нас монастырские стены, обильно усеянные сверху битым стеклом, заделанным в бетон.

Итак, тетя Соня забрала нас к себе домой и мы оказались в квартире, где она жила вместе с сестрой Розой и дочкой Мусенькой - пяти лет. Население квартиры сразу удвоилось, а у моих теток вместо одного стало четверо иждивенцев... Были разорваны все мои дружеские мальчишеские связи, которые только-только начали устанавливаться после нашего переезда с Петровки, где я жил от рождения, на новую квартиру, находившуюся на углу Старопименовского переулка и улицы Горького, в так называемой «Булганинской надстройке».

Справедливости ради следует отметить, что школьные дела меня совершенно не занимали, и я был фундаментальным троечником, у которого

четверки, не говоря уже о пятерках, были как пятна звезд среди темного неба. Предоставленный сам себе, я имел три рода занятий: первое – изображал учителя и занимался с младшими сестрами, второе – проводил обширные военные игры с вырезанными из бумаги солдатами, пушками, танками, кораблями, самолетами... и, наконец, третье – дотошно изучал в газетах, которые выписывали тетки, состояние международных дел. А дела международные были бурными и я принимал их близко к сердцу. 12 марта 1938 года немецкие войска вступили в Австрию и был объявлен «аншлюсс», присоединение ее к Германии, в июле наши дальневосточные войска учинили разгром японцам на озере Хасан, а 29-го сентября было заключено Мюнхенское соглашение между премьер-министром Англии Чемберленом, премьер-министром Франции Даладье, Гитлером и Муссолини, которое предусматривало удовлетворение претензий Германии, Венгрии и Польши к Чехословакии. Судетская область была отторгнута от Чехословакии и передана Германии. 1939 год начался еще динамичнее. 15 марта Германия, Венгрия и Польша оккупировали Чехословакию, которая перестала существовать как государство, 22 марта немцы вступили в литовскую Клайпеду, а в апреле итальянцы вторглись в Албанию. Но главное, что держало меня в постоянном напряжении и что ежедневно освещалось в газетах, были события в Испании.

Начавшийся в июле 1936 года военно-фашистский мятеж против Республиканского правительства Испании, образованного коалицией левых партий, победивших на выборах, привел к затяжной гражданской войне. Возглавляемый генералом Франко режим после двух с половиной лет ожесточенной борьбы при открытой поддержке Италии и Германии ранней весной 1939 года в ожесточенной борьбе преодолевал отчаянное сопротивление республиканских войск и приближалась трагическая развязка.

В конце декабря 1938 года началось наступление мятежников на Каталонию. В конце января 1939 г. правительство Каталонии переехало на север к французской границе в Жерону, так как путь на Барселону был практически открыт. В феврале пала вся Каталония. В начале марта начались выступления против республики в Мадриде и Картахене. 26 марта войска Франко перешли в широкое наступление против Республики по всему фронту.

Надо рассказать, как все советские мальчишки воспринимали в то время события в Испании. Нам не нужна была географическая карта, чтобы понять где расположены Севилья, Бильбао, Саламанка, Бадохос, Теруэль, Валенсия, Гвадалахара. С великой гордостью до самой зимы счастливые обладатели носили «испанки» - пилотки с кисточками – головной убор бойцов республиканской армии. Постоянной игрой была игра «в Испанию» с непременно поднятым кулаком и приветствием "No pasaran". Улицы Москвы впервые за свою историю увидели торговые точки, продававшие апельсины, которыми, видимо, расплачивалось испанское правительство за наши поставки. Бумажные обертки от апельсинов стали ценными ребячьими сувенирами.

Это было время, когда волны революционной романтики охватили детскую, да и не только детскую часть населения. Несгибаемая стойкость интербригад под Мадридом, разгром итальянских войск под Гвадалахарой, потопление нашего парохода «Комсомолец» в Средиземном море, мужественная борьба басков и астурийцев, отрезанных на севере страны держали в напряжении всех и воспринимались как наши собственные победы и поражения. Мы проклинали непримиримую ярость франкистских генералов Варелы, Кейпо де Льяно, восхищались героической стойкостью Модесто, Листера. Все эти события держали меня, как и множество других мальчишек, в постоянном напряжении. Прошло более 60 лет со времени тех событий, но и воспоминания о тех бурных днях заставляют с волнением переживать эти неординарные дни первой половины двадцатого века.

Я с самого первого дня мятежа, когда общая обстановка была еще не ясна и легионеры Франко на немецких самолетах перелетали из Марокко на материк, так как республиканский флот господствовал на море, с болезненным вниманием воспринимал каждое изменение ситуации на фронтах. По мере осложнения положения республиканцев меня все больше охватывало неудержимое желание добраться до Испании и «включиться в борьбу за торжество правого дела». В начале марта я твердо решил, «что мой час настал» и, покинув квартиру на Каляевской, направился в Испанию. К глубокому сожалению, мой путь и судьба Испанской республики разошлись. Двадцать седьмого марта пал Мадрид. Тридцать первого марта вся Испания была в руках франкистов. Справедливости ради надо отметить, что некоторые республиканцы ушли в горы, и партизанская война продолжалась до 1951 года. Но я об этом в то время уже не знал, так как находился в КПЗ ДТО НКВД Калининской железной дороги (камере предварительного заключения дорожно-транспортного отдела Народного комиссариата внутренних дел) в г.Ржеве и мне было предъявлено обвинение по статьям 58-1,58-10 ч. 1 и 84 УК РСФСР, что в переводе на обывательский язык означало: измена Родине, антисоветская агитация и нелегальный переход государственной границы. Теперь, когда более шестидесяти лет отделяют меня от того времени, на исходе дней моей бурной жизни оставляю моим внукам эти воспоминания.

Для полноты картины, объясняющей мое неудержимое стремление в Испанию, отмечу, что летом 1938 года наши тети, мобилизовав все свои финансовые возможности, вывезли нас в деревню недалеко от станции Обнинская, по Киевской железной дороге, где ныне вырос город атомщиков. В то время возле станции размещался детский дом, в котором находились испанские дети, эвакуированные в основном из Астурии и Басконии перед захватом этих областей франкистами. С испанскими детьми, моими сверстниками я проводил большую часть времени на берегу реки Протвы, где они безнадзорно гуляли от завтрака до обеда. Мы общались на выработанном совместно русско-испанском диалекте и с помощью жестов. Это общение еще больше приблизило меня к Испании. Теперь вернемся к «истории».

Мое раннее детство было счастливым и безмятежным. Мы жили на пятом этаже корпуса, расположенного во дворе большого углового дома в центре Москвы. С одной стороны дом выходил на Петровку, а с другой – в Столешников переулок. Ворота дома, сохранившего до сегодняшних дней № 15, выходят на Петровские линии и из них видна Неглинная улица. В начале двадцатого века в доме размещалась гостиница «Марсель». С 1925 года мы занимали две смежные комнаты в восьмикомнатной квартире, в которой в дореволюционное время проживала хозяйка гостиницы.

Брак между моими родителями, как это было принято в то время, не был зарегистрирован и со времени как я себя помню отец жил отдельно от нас в маленькой темной комнате для прислуги, заваленной книгами, имевшей вход с кухни. Отец был журналистом. Он работал ответственным редактором журнала «Книгоноша» до 1926 г. Журнал «Книгоноша» был еженедельным бюллетенем критики, библиографии, библиотековедения и книгоиздательского дела, органом Совпартиздательства при отделе печати ЦК РКП(б). После ликвидации журнала отец несколько лет трудился в ТАСС и в «Известиях», а затем был направлен на Дальний Восток. Там он работал на КВЖД и сотрудничал в газете «Тихоокеанская звезда». В начале тридцатых годов его направили в Воронеж на Юго-Восточную железную дорогу, где, как я отмечал, он совмещал работу заместителя начальника политотдела и ответственного редактора дорожной газеты «Вперед».

Мама работала экономистом в «Союзтекстильмашине». А я и моя сестра Витя целый день находились под надзором няни Поли и родственницы отца Анфисы Ивановны. В памяти моей Анфиса Ивановна всегда сидела в кресле и что-то вязала или читала. Я вступал в отношения с ней, когда окружающие решали, что мое поведение превышало допустимый уровень шума. Тогда кресло отодвигалось, меня ставили в угол и кресло снова задвигалось, а я оставался в «одиночном заключении». Длилось оно недолго. Старушка впадала в дремоту и я под креслом выбирался на свободу. Совсем иные отношения были у меня с Полей. Она была очень молоденькой подвижной симпатичной девушкой из Рязанской области. Поля обладала бесконечной добротой и огромным терпением. По рассказам старших она во мне души не чаяла и называла меня «мой ненанетный». В то время, по рассказам мамы и теток, я был спокойным и ласковым ребенком. Моим единственным желанием было оставаться безнадзорным. Я не предъявлял никаких претензий ни к еде, ни к одежде. За все детские годы лишь один раз болел. Да и то корью в легкой форме. Таким образом, в отличие от старшей сестры, доставлял всем, особенно Поле, минимум хлопот и был общим любимцем. Двор нашего дома – узкая щель между центральным корпусом – пятиэтажкой и окружающим гостиничным комплексом – был и остался сейчас истинным каменным мешком. Гулять во дворе было негде. Поэтому Поля водила меня на Театральный сквер, на Страстной или Петровский бульвары или на не существующий ныне, Кузнецкий сквер. Каждый из этих прогулочных уголков был по-своему очень интересен для меня. Например, на Театральной площади, там, где теперь станция метро «Площадь Революции», располагалась автобусная станция, с которой отходили автобусы в Красную Пахру. Линию обслуживали трехосные автобусы английской фирмы «Лейланд». Эти огромные красные пузатые чудовища с блестящими медными поручнями на входе и выходе казались мне океанскими кораблями: утром они отправлялись в «далекую неведомую Пахру», а вечером, запыленные и утомленные возвращались назад. Я постоянно приставал к Поле, чтобы она повела меня на отправление или на прибытие автобуса. Позднее, когда я подрос и стал самостоятельно ходить в нулевку и в первый класс, мы, объединившись в мальчишескую компанию, бегали провожать или встречать загадочные «лайнеры». Как мы завидовали счастливым пассажирам, отправлявшимся в далекое путешествие. Болезненная страсть к путешествиям в неведомое сохранилась у меня на долгие годы, но, увы, впоследствии приносила мне не только радости. С автобусом «Лейланд» связана у меня память о первом трагическом эпизоде в моей жизни. Петровка тогда зимой не очень тщательно очищалась от снега и мы, пацаны, проволочными крючками цеплялись за автобусы и на коньках катились вдоль улицы. Напротив наших ворот была остановка, что создавало большие удобства. Прицепившись к стоящему автобусу мы проезжали остановку, а затем возвращались домой. Итак, мы вдвоем прицепились к углам автобуса, а он забуксовал и дал задний ход. Я потерял связь с автобусом, а мой товарищ поскользнулся, упал и попал головой под огромные задние колеса. Более семидесяти лет прошло, но эту ужасающую картину: кровавое месиво, крики, толпу, собравшуюся возле автобуса, я помню, как будто бы это было на прошедшей неделе

Другой достопримечательностью нашего района был Охотный ряд. До сих пор, закрыв глаза, я могу вызвать образы здоровенных севрюг, белуг, калуг, туши которых, ошетилившись пилообразными спинами висели на крюках в рыбном ряду. В памяти от Охотного ряда осталось также огромное разнообразие грибов всевозможных видов и способов консервирования.

Охотнее всего Поля ходила на Кузнецкий сквер, на котором она встречалась со своим ухажером, стрелком охраны Наркоминдела со странным

именем Коля-Володя. Я не пытался вникнуть в тайны их отношений и этого странного имени, зато получал от этих свиданий мальчишеского удовольствия. Коля-Володя подхватывал меня своими сильными руками и подбрасывал вверх. Затем он давал мне грош или копейку, и я бежал на окраину сквера к лотку Моссельпрома за леденцами. Плата за эти удовольствия была минимальной и ничего для меня не составляла. Я называл Полю мамой и никому не рассказывал про встречи на сквере.

Поля в соответствии с традициями того времени состояла членом «Союза» и занималась в ликбезе, а после его окончания поступила по рекомендации мамы на курсы телеграфисток, поступила работать на Центральный телеграф, где постепенно стала кадровым работником самой высокой квалификации и откуда ушла на пенсию. Моя мама помогала Поле во всех ее начинаниях, но мы очень горевали по поводу ее ухода. Я же сохранил на всю жизнь самые нежные чувства и глубокое уважение к моей «маме» и несколько раз встречался с ней после войны. Сейчас, много лет спустя, после моего безмятежного детства, в минуты радости из глубины воспоминаний, вдруг всплывают милые рязанские Полины припевки на слова: тындер, тындер, тындер...

Отец после отъезда в Воронеж поддерживал отношения со мной и Витей посредством переписки. Он периодически, с небольшим интервалом посылал нам художественные открытки с коротким письмецом на обороте. В письме, как правило, были наставления по поводу учебы, перечень купленных им для нас книг, которые он периодически пересылал в Москву, а мне в конверты часто закладывались иностранные марки для коллекции. После перевода отца в Воронеж, я просился у мамы к нему на лето и дважды он меня принимал. Но это было уже в 1934-1936 годах. На лицевой стороне посылаемых нам открыток преобладали три сюжета: мировая художественная классика, революционное движение, каторга и ссылка царской России и гражданская война и пафос послереволюционного созидания... Не знаю были ли у него какие-либо предчувствия, но среди последних открыток он дважды послал Вите открытку, изображавшую картину Ван Гога «Прогулка заключенных».

Окончание моего дошкольного возраста совпало с двумя важными событиями. Первое связано с маминной гимназической подругой Розой Павловской, родители которой в дореволюционной Одессе владели магазином на Дерибасовской и, в силу этого она всю жизнь чувствовала моральное превосходство над моей мамой и, в меру сил, временами с большой пользой для нас, осуществляла свою опеку. Летом 1932 года она пристроила меня на лето в детский сад завода «Красный факел», выезжавший в Евпаторию. Это был мой первый отрыв от дома и семьи. До этого я или уезжал на дачу, или в Подмоскowie с детским садом, где мама устраивалась на лето руководительницей. Приключения начались по дороге на юг. Наш поезд в районе Орла попал в крупное, нашумевшее в то время крушение. Не помню деталей. Но знаю, что были даже опрокинувшиеся вагоны. К счастью в нашем коллективе кроме испуга и легких ушибов ничего не было. После возвращения я узнал, как волновались родные пока не получили сведения, что с нами все в порядке. От поездки в Евпаторию у меня в памяти на всю жизнь остались три события. Первое - Черноморский флот. Прямо напротив пляжа, где мы загорали и купались каждый день, на рейде стояла черноморская эскадра, в составе которой каждый из мальчишек различал линкор «Парижская коммуна» и крейсера «Червонна Украина», «Красный Кавказ» и «Красный Крым». Команды кораблей шефствовали над детскими организациями, а некоторые командиры ухаживали за воспитательницами. И вот в один прекрасный день с крейсера «Красный Кавказ» - нашего шефа - пришел катер и старшая группа вместе с воспитательницами отправилась на экскурсию. Был довольно свежий

ветер, поэтому море, спокойное у берега, основательно покачало наш катер. Несколько ребят вывернуло. Помню, что я выстоял в борьбе с морем, чем очень гордился. Мы показали краснофлотцам свою, заранее подготовленную, самодеятельность, они сплясали для нас «яблочко». Впечатлений хватило до отъезда домой, а память осталась на всю жизнь. От Крыма остались на всю жизнь в памяти вольные ласточки, мечущиеся в высоком голубом небе. Это воспоминание воскресло в тюремной камере, когда я смотрел в щель между стеной и «намордником», и возникает всегда, когда я чувствую себя запертым в неволе.

Отец происходил из интеллигентной семьи Соколовских. Его старший брат Илья, известный в то время журналист, был редактором газеты «Одесские новости», писал популярные статьи под литературным псевдонимом Седой. Илья Львович в дореволюционные годы был близким другом Льва Троцкого и уже в 1920 году был отправлен в ссылку, а в 1941 г. погиб при пересылке на тюремном этапе. Старшая сестра отца Александра принимала активное участие в подпольной революционной работе. Судьба свела ее с Троцким, женой которого она стала в девяностые годы позапрошлого века. Судьба Александры, а также двух ее дочерей, моих двоюродных сестер и второй сестры отца Марии широко известна и я не буду на ней останавливаться. Отец также с юных лет включился в революционную деятельность. Тарский – его подпольная кличка. Об уровне этой работы свидетельствуют документы, подтверждавшие, что в возрасте двадцати четырех лет он на I и II съездах КПБ(У) избирался членом ЦК Украины и по его заданию был направлен в Одессу с целью организации большевистского подполья для борьбы с Деникиным. Подпольная большевистская газета «Одесский коммунист», изданием которой он руководил, выходила до освобождения Одессы в феврале 1920 г. более 140 раз. По словам очевидцев, Одесса буквально была наполнена «Коммунистом». По рассказам мамы, отец очень плохо относился к Троцкому. Причиной, видимо, было то, что он оставил его сестру с двумя детьми, но тень Троцкого, падавшая и на него, видимо привела его к гибели в годы сталинских репрессий 37-го года одним из первых.

Компромат на Тарского вылезает также из каждого номера «Книгоноши», которые заполнены множеством положительных отзывов на статьи и книги деятелей, впоследствии квалифицированных как «враги народа», и крайне редких на труды Сталина и его ближайших соратников. Объективно это, видимо, истекло из количества опубликованных в те годы статей и книг, тем не менее факт остается фактом.

Семья мамы резко отличалась от отцовской. В семье было двенадцать детей. Старшие вполне годились в родители младшим. Моя мама была последним ребенком. Она родилась в 1899 году. Дореволюционную жизнь этой семьи хорошо описала в своих воспоминаниях ныне покойная Эстер Моисеевна Бакинская-Мах, которую в маминой семье называли Настя. Вот отрывок из ее воспоминаний.

«В конце 1911 года я поступила на работу в мануфактурно-галантерейный магазин: сначала уборщицей, а затем «выдвинулась» в продавщицы. Это был «магазин мадам Рабинович» на Алексеевской площади Молдаванки. У мадам Рабинович была большая семья, много девочек. Именно в этой семье я обрела настоящих друзей, с которыми прошла всю жизнь, привязанность к которым сохраняю и сейчас, когда в 1966 году пишу эти страницы.

О семье Рабинович стоит рассказать. У матери был большой магазин. А все дети шли совсем иным путем. Все старшие занимались революционной работой, сидели в тюрьмах, скитались по всему свету. В этом доме находили приют все товарищи и друзья старших детей. Младшие дети должны были

помогать старшим, когда те находились в тюрьмах, помогать их товарищам, попавшим «в беду». Младшими были Роза, Соня и Ева. Они часто отправляли посылки высланным в отдаленные районы, они же были частыми гостями в одесской тюрьме, когда носили передачи своим братьям и сестре и их товарищам. Меня тоже приобщили к этому делу, и я несколько раз носила передачи в тюрьму. Где же брали деньги на посылки, денежные переводы и передачи Розочка, Соничка и Евочка (так их все всегда называли). Мать часто уезжала по делам торговли, уплаты по векселям и т.п. в центр к разным поставщикам товара для ее магазина. В это время упаковывались посылки с отрезами на платье, пальто, чулки, шапки, носки, полотенца и пр. Деньги из кассы брались незаметно для мадам Рабинович. Так она расширяла свою торговлю, не зная и не ведая, на кого она работала... В этом доме в 1912 году я впервые узнала о революционном движении»...

Чем жили старшие дети этой большой семьи Рабиновичей? Виктор (выбравший партийную кличку Волынский) родился в 1882 году. В 1902 г. окончил Одесское реальное училище. В этом же году он установил связь с одесским комитетом социал-демократов и начинал работать в качестве агитатора-пропагандиста. Реакция властей не заставила долго ждать, 26 марта 1903 года его арестовали. Четыре с половиной месяца в одесской тюрьме и три с половиной – в Воронежской, куда был переведен за участие в тюремной голодовке. Приговор – высылка в Восточную Сибирь на 4 года. Далее его беспокойная жизнь проходит в режиме бешенных прыжков: 16 февраля 1904 г. он прибывает в Якутск и с 18.08.1904 г. принимает участие в вооруженном протесте на «Романовке». Выступление подавлено, Виктор получает 12 лет каторги и направляется в легендарный «Александровский централ». Там он участвует в беспрецедентном подкопе: заключенные выкопали в промежутке между деревянным полом и каменным основанием, высотой от 6 до 8 вершков туннель, утрамбовав под полом 40 кубометров земли. В ночь с 16 на 17 января 1905 года побег состоялся. Не для всех он был удачным. Виктор прошел Нижнеудинскую рогатку и добрался... до Парижа. С этого момента он становится профессиональным революционером. В мае 1905 года он уже в Женеве. Работает в типографии «Искры». В России разгорается революция. ЦК РСДРП направляет его в Крым. В октябре 1905 г. он руководит всеобщей забастовкой в Мелитополе. Принимает активное участие в восстании флота и гарнизона в Севастополе, а после его разгрома увозит матроса Григорьева, которому грозил расстрел, в Америку. В 1907 г. нелегально вернулся в Россию, был арестован в Одессе, не раскрыт и выслан, в 1908 г. нелегально вернулся в Петербург, провалился, но смог скрыться. В 1909 г. был арестован в Белостоке. Также не был раскрыт, и освобожден. В 1910 г. арестован в Петербурге. Раскрыт и привлечен по «Делу Романовки» и побегу 1905 года, но вновь бежит и добирается до Лондона. Два года работает секретарем профсоюза. В 1913 г. переехал в Аргентину, где работал на постройке подземного туннеля на горной дороге. В связи с кризисом 1914 года и началом Мировой войны перебрался в Австралию. В Англии, Аргентине, в Африке и Австралии был связан с социал-демократическими организациями и выполнял их задания.

После Февральской революции 1917 года выехал в Россию через Японию, но в связи с закрытием границы Временным правительством застрял в Харбине. В октябре 1917 г. руководил Советом рабочих депутатов полосы отчуждения КВЖД, принявшим всю полноту власти. После разгрома Советской власти китайскими войсками через Владивосток вернулся в Одессу.

В 1918 – 1919 годах работал в Одессе на нелегальном положении. После изгнания интервентов из Одессы в начале 1920 г. работал заместителем председателя Губсовнархоза, затем заведовал отделом агитации и пропаганды

обкома КПБ(У) и редактором газеты «Коммунист». В конце 1920 года был отозван на работу в Наркоминдел, где работал до 1925 года первым секретарем посольств в Латвии, Эстонии и Мексике. В 1924 г. выпускает книгу «Английская рабочая партия». В 1927 г. направляется в Хабаровск в качестве заведующего отделом печати Далькрайкома ВКП(б). До 1930 г. совмещает эту работу с подготовкой издания «Энциклопедии Дальневосточного края», а затем его отзывают в Москву, где он начинает работать помощником главного редактора БСЭ Отто Юльевича Шмидта. В июле 1932 года секретариат ЦК ВКП(б) направляет его на работу в Метрострой, в качестве начальника отдела зарубежного опыта и редактора журнала «Метрострой». И, наконец, в 1934 году он направлен в Шанхай в качестве заведующего бюро печати при посольстве СССР в Китае. Умер Виктор Яковлевич Волынский в Шанхае 9 апреля 1934 года от болезни желудка, полученной в бесконечных странствиях по миру. Эти сведения о жизни Волынского почерпнуты мною из некролога в журнале «Каторга и ссылка» общества бывших политкаторжан, членом которого он был и в доме которого до сих пор живет семья его младшего сына, Шурика Волынского. Некролог этот заканчивался такими словами редакции: «Последний отзыв о его работе после большого некролога в «Правде» передали нам товарищи из Китая. Это была вырезка статьи из белоэмигрантской газеты в Шанхае. В статье выражается огромная радость по поводу того, что «сдох» Волынский, который терроризировал русские белоэмигрантские организации в Китае».

В моей памяти он остался веселым, подвижным, добрым человеком, сыпавшим анекдоты, остроты, шутки. В семье все старшие и младшие звали его просто Витька и он ни на кого не обижался. Я его обожал, так же как и его жену Лиду, журналистку газеты «Гудок», которая погибла в результате несчастного случая. В мою жизнь Лида внесла важный вклад – в младшем школьном возрасте на всю жизнь отучила меня от курения.

Второй старший брат моей мамы, Филипп, именуемый в семейном обиходе Фишка, был менее доступен. В годы, предшествовавшие репрессиям, его сферой деятельности была внешняя торговля. Будучи председателем «Аркаса» и торгпредом в советском посольстве в Лондоне он с семьей постоянно находился в Англии и лишь наездами бывал в Москве, занимая роскошный номер в гостинице Метрополь. После возвращения в Союз он занимал посты заместителя министра внешней торговли, а перед арестом заместителя министра лесной промышленности. Он также получил свои десять лет и бесследно исчез. С ним были арестованы его жена Софья и дочь Нюрочка, а внучка Галя прошла «систему НКВДистского образования». Помимо роскошного номера в «Метрополе» у меня в памяти о Филиппе остались заграничные тетрадки с божественной гладкой бумагой, совершенно недоступные «обыкновенным» школьникам, великолепные карандаши с резиночками на конце, которые он неизменно дарил мне и Вике, приезжая из-за границы, а так же два или три парада на Красной площади, куда он брал меня с собой. Среди его друзей в то время были П. Л.Капица и Н.М.Шверник. Ради восстановления истины следует отметить: когда Софья и Нюра вернулись домой из лагерей, Капица принял живое участие в их судьбе, семья Шверников не пожелала вспомнить о прошлом знакомстве и отказалась от встречи.

Я еще не ходил в школу, когда в жизни нашей семьи произошло важное событие. Место отца, с которым я общался крайне редко, так как он после работы в «Книгоноше», «Известиях» и ТАСС отбыл на Дальний Восток, в Маньчжурию, где несколько лет работал на КВЖД, занял очень подвижный, динамичный, веселый и сравнительно молодой человек. Он был на восемь лет моложе отца и на три года мамы. Требовательный и суровый на работе, дома он был необыкновенно чутким и добрым. Для меня стали праздниками

еженедельные выходы в Сандуновские бани, напротив входа в которые расположен наш дом 15. Мы с дядей Веней, как мы с сестрой Викторией именовали своего отчима, Вениамина Львовича Люлькина, ходили в 1 разряд с бассейном. Особое удовольствие мне доставляли три «мероприятия»: взаимное намыливание на полке, окатывание из шайки холодной водой и плавание в бассейне.

Много лет прошло, но я и сейчас отлично помню, как дядя Веня укладывал меня на банную скамейку, намыливал, а затем напевая: «Вертайтесь годы молодые», одновременно хлопал мочалкой по заднице или по животу. По этой команде я поворачивался на 180°, и удовольствие продолжалось.

Отец был далеко, от него приходили лишь малословные открытки с приветами и назиданиями, а добрый могучий отчим постоянно был рядом, вполне заменял мне отца.

Учиться я начал с нулевки. Сначала, недолго в школе в Дмитровском переулке, затем в 27 школе на Большой Дмитровке и, наконец, во вновь построенной, вполне роскошной, по тем временам, 36 школе, позднее ставшей 170. Эта школа располагалась внутри квартала и имела выходы в Петровский переулок и на Большую Дмитровку. Насколько я себя помню мою школьную жизнь до 6 класса можно охватить маминой одесской формулой: «Тихие успехи и шумное поведение». И хотя мама неоднократно после вызова на собрание с очередной проработкой показывала мне свой гимназический билет, где на первой странице было начертано: «Дорожа своей честью, вы не можете не дорожить честью своего учебного заведения», я оставался самим собой – озорным и ленивым шалопаем. Теперь я с сожалением отмечаю: выходы мои проходили безнаказанно. Самыми ранними наказаниями были водворение меня в угол за кресло, на котором восседала папина родственница Анфиса Ивановна, или Полины угрозы, что из батареи отопления выйдет таинственный и грозный «Гамадрил» и уведет меня с собой. Так как «Гамадрил» все не приходил, я перестал его бояться.

Куда страшней для моих родных и знакомых была моя детская любознательность и склонность к экспериментам.

Я не помню, в каком возрасте я совершал свои «злодеяния», но отлично помню их сущность. Однажды я решил проверить, будут ли ходить мамины часики, которые ей преподнесли по поводу успешного окончания гимназии, если их бросить с пятого этажа. Я взял часы и осторожно выбросил их за окошко, а затем стремительно сбежал вниз. Но, к сожалению, несмотря на долгие поиски, не нашел даже корпуса. Два эксперимента я провел вместе с подружкой моего детства Наталкой, дочкой маминой гимназической подруги Розы Павловской. Мы очень дружили с ее семьей и на дни рождения детей всегда приходили друг к другу. Так вот, на двух днях рождения Наталки я нанес «семейным реликвиям» непоправимый ущерб. У Павловских еще от «царских времен»

была роскошная ваза для фруктов. На длинной тонкой стеклянной ножке размещалась широкая тарелка из зеленого стекла. Мы с Наталкой решили испытать, выдержит ли ножка, если сесть на тарелку. Я сел – раздался легкий треск, и ваза перестала существовать. В другой раз, оставшись вдвоем в комнате, мы решили распустить бисерные нити, украшавшие большую люстру, которую Павловские привезли из Одессы.

Именно Роза Павловская подсказала нашей тете Соне, где нас следует искать после ареста мамы.

Вернемся к нашим баранам. Ранняя весна 1939 г.. Я через развалины Страстного монастыря по Малой и Большой Дмитровкам бегаю в 170 школу. Прибегая домой с нетерпением хватаю газеты... «Что в Испании?» В Испании

плохо. А у меня: тетки с трудом выкручиваются, чтобы прокормить более или менее прилично четверых детей на полунищенскую зарплату. Я по мокрой Дмитровке шлепаю подметкой, подвязанной провололочкой и слышу раздающееся из репродукторов: «Живем мы весело сегодня, а завтра будет веселей...»

Все это подгоняет принятие решения: «еду в Испанию». Заложенные с раннего детства «революционные, большевистские» корни с одной стороны, и неприемлемая действительность, с другой, подталкивают меня. Я выбираю и обдумываю маршрут: ближайшая граница – латвийская, там добирюсь до моря и пароходом отправлюсь во Францию и через границу – в Испанию. Я несколько раз приезжаю на Ржевский вокзал (так тогда назывался Рижский) и уточняю расписание поездов и цену билета. Наблюдаю, как проводники тщательно проверяют билеты при проходе пассажиров в вагон. Принимаю решение: на начало маршрута нужно купить билет. В то время между детьми у нас в доме были распределены обязанности: старшая Вика занималась уборкой помещения, за мной числились вынос мусора на помойку и покупка хлеба. Я прибег к «одесскому методу» моей мамы и понемногу задерживал часть сдачи, пока не набралась сумма на билет до Ржева в общем вагоне. Кроме отсутствия денег была еще одна причина. Для покупки билета до Себежа требовалось специальное разрешение милиции на въезд в пограничную зону.

Вычерчен маршрут движения на карте Европы (эта карта и сейчас находится в моем следственном деле в архиве МВД). На случай, если меня задержит противная Испанской республике сторона, я прихватил пачку антисоветских листовок, которые ранее отпечатал на домашней пишущей машинке «Вудсток». Часть этих листовок я рассовал в почтовые ящики в нашем доме. На мое счастье никто не сообщил НКВД о листовках, в противном случае мое будущее положение, как я теперь понимаю, было бы куда сложнее. И вот теперь с билетом до Ржева я влезая в поезд до Себежа, где имеются международные вагоны до Риги. Не помню, когда поезд отправлялся, помню, что во Ржев, где кончалось действие моего билета, он пришел поздно вечером. Я поднялся и в общей суете протолкнулся в международный вагон. Вагон был почти пустой. Потрогал дверь в одно купе, когда коридор освободился, она открылась, в купе никого не было. Сердце бешено забило. Я был на пути к цели, но мог оказаться в западне. Наверху, на поперечной полке лежали скатанные матрасы, забравшись на полку, я перебрался через них и построил из них баррикаду. Поезд тронулся, и я вскоре уснул. Проснулся от шума и хлопанья дверями. Судя по разговорам, пограничник с проводником проверяли вагон. Я замер, насквозь пронизанный чувством страха. Дверь распахнули, пограничник вошел в купе. Мне казалось, что шум бьющегося сердца слышен на весь вагон. Но пограничник вышел через несколько секунд, хлопнув задвигаемой дверью. Где была эта проверка, когда мы пересекали границу, почему латышские пограничники не осматривали купе? «Граница на замке» была преодолена, но нужно было еще незаметно выбраться из вагона. Тут я допустил ошибку. Нужно было тихо лежать до самой Риги, тем более, что в противогазной сумке у меня была припасена еда. Но мне хотелось скорее выбраться на волю. На первой станции я не решился, на второй тоже, на третьей, потом я прочел, что это было Резекне, стоянка была дольше, я тихонько вышел из купе и пошел по вагону в сторону, обратную от проводников. Вагон не был заперт и я перешел в следующий. Там у выхода суетились люди, и проводника не было. Я спустился на землю и быстро пошел от вокзала. Я вышел на привокзальную площадь и меня охватил почти панический страх. Мне казалось, что каждый проходящий оглядывается на меня и видит во мне «чуждый латышской земле элемент», да так, наверное, и

было. Мальчишка в буроватом бобриковом пальто с противогазной сумкой через плечо, безусловно, был чуждым и бросающимся в глаза элементом. Но никто ко мне не подходил и ни о чем не спрашивал. Недалеко от вокзала громоздились какие-то склады, обнесенные высоким забором. Я решил незаметно перебраться через забор, передохнуть и выработать план дальнейших действий. С безлюдной стороны я перескочил через забор и увидел огромную бочку без дна, стоящую у складского помещения. Забравшись во внутрь, я решил переждать до утра и двинуться в дальнейший путь. Как это будет я не представлял и решил, что обстановка подскажет. Было начало весны и земля и стоящие на ней предметы не были прогреты. Я промерз до костей и как только забрезжил рассвет решил вылезти из своего убежища, которое защищало меня хотя бы от холодного ветра. Только я высунул голову из бочки как увидел сторожа, который смотрел в мою сторону. Я быстро присел, но было поздно. Сторож заметил меня и подойдя к бочке заглянул в нее и о чем то спросил меня по-латышски. Я молчал. Тогда он знаком предложил мне вылезти и взяв за рукав повел к станции. Мы вошли в здание и зашли в помещение, где за столом сидел пожилой человек в железнодорожной форме. Он внимательно выслушал сторожа, посмотрел на меня и спросил по-русски: «Мальчик, ты откуда»? Я ответил: «я из Москвы и еду в Испанию». При этом у меня стучали зубы. Затем он предложил мне сесть в углу у протопленной печки. Он отпустил сторожа, передав ему какую-то просьбу. Мы сидели молча.

Через короткий промежуток времени пришла женщина и принесла стакан горячего чая с большим пряником. Железнодорожник, назовем его так, предложил мне выпить чаю, что я немедленно сделал. Затем он обратился к женщине, она взяла стакан и вышла. Железнодорожник переключал какие-то бумаги и не обращался ко мне. Минут через десять вошел рослый мужчина в форме, в котором я сразу определил полицейского. Они немного поговорили по-латышски и полицейский по-русски предложил мне идти с ним. Я повиновался без вопросов. Он завел меня в небольшую комнату со скамейкой и решеткой на окне и ушел, заперев дверь на ключ. Я успокоился и без страха стал ожидать продолжения событий. Время тянулось медленно, часов у меня не было, прошло примерно два-три часа, как полицейский явился вновь и позвал меня. Он вывел меня на перрон, подвел к стоявшему поезду. У входа в вагон, к которому он меня подвел, стояли три человека. Меня завели в вагон, полицейский и один из встречавших подписали какие-то бумаги, затем полицейский ушел, а сопровождавший меня спросил, как меня зовут, забрал противогазную сумку и ушел, заперев купе. Поезд тронулся в сторону советской границы и я понял, что мое путешествие дало обратный ход. Горькая обида пронизала меня, и я тихо заплакал. Счастливые часы «свободного полета» позади, я заперт в купе поезда, идущего в сторону Москвы. Молодой молчаливый сопровождающий, периодически отпирает двухместное служебное помещение, осматривает меня с ног до головы и вновь запирает дверь.

И вот уже Ржев. Молодой человек вывел меня на перрон и завел в небольшое, грязное помещение. В помещении было тесно, там находились двое молодых людей в штатском, милиционер и пожилые мужчина и женщина, приглашенные в качестве понятых. Один из молодых людей и милиционер начали тщательный обыск, вытряхнули содержимое моей противогазной сумки на стол и стали выворачивать мои карманы и ощупывать меня. Выявленное содержимое заставило их отнестись ко мне весьма серьезно. Еще бы. Была обнаружена карта Европы с прочерченным маршрутом от Москвы аж до самой Испании. Маршрут пересекал советско-латвийскую границу. Особое внимание привлекли напечатанные на машинке листовки антисоветского содержания. Состоялся телефонный разговор и в сопровождении одного из штатских я был

доставлен в КПЗ ДТО НКВД Калининской железной дороги, управление которой в то время находилось во Ржеве.

Глубочайшая тоска об утраченном «вольном полете», в котором я пребывал менее суток, охватила меня, и я вновь судорожно беззвучно зарыдал. Меня трясло и беззвучные рыдания, и поток слез полностью захватил меня. Следователи прекратили допрос и занялись оформлением протокола, формальностей своей организации. Помню, что самое тягостное было то, что обнаружилось, что на моих стареньких носках зияли огромные незаштопанные дыры. Это злило и почему-то успокаивало. Я перестал плакать. Сняли отпечатки пальцев, постригли, сфотографировали в фас и в профиль. Эти фотографии вполне характеризуют мой внешний вид на предстоящий год и мое испуганное растерянное состояние в первые дни задержания. Сотрудник, знакомящий меня с делом при реабилитации, разрешил мне взять их с собой также как и одну из сохранившихся в деле злополучных листовок. Приведу здесь текст моего творчества, сохраняя орфографию и пунктуацию:

«Гражданин. Окончился XVIII съезд ВКП(б) и на нем еще раз прокричали о свободе. Но где же эта свобода ее то и не видно. Попробуй ты только пискнуть против Советской власти... Изобилие – кричат на съезде, а ты гражданин не можешь достать без очереди молока, мануфактуры не говоря уже об обуви. Масло есть только в столице. ДЕРЕВНИ ГОЛОДАЮТ. Все кричат о победе у озера Хасан. Подумай, гражданин, трудно ли целой армией разбить пехотную дивизию. Делай сам вывод гражданин, а мы сказали свое слово».

В последующие дни я быстро пришел в себя, ко мне вернулось чувство юмора и пребывание в КПЗ и на допросах превратилось в своеобразную, занятую игру.

После предварительных процедур меня водворили в небольшую двухместную камеру, где я месяц с небольшим отсидел в полном одиночестве, предоставленный самому себе и своим размышлениям. Камера представляла собой прямоугольный параллелепипед, размером примерно 4х1.5 м., высотой около 2,5 м., все оборудование состояло из навешанных на стены кроватей, табуретки и лампочки, защищенной сеткой, над небольшим окном, снаружи закрытым деревянным щитом. Этот щит, называемый, как я позднее узнал, в арестантском просторечии «намордником», плотно прилегал к наружной стене, оставляя в верхней части щель, шириною с ладонь, через которую прижавшись щекою к стене можно было увидеть полоску голубого неба, а при длительном наблюдении поймать взглядом стремительно проносящихся ласточек. В камере отсутствовали даже стол и параша. Последнее послужило причиной первого моего конфликта. Впрочем, исключая это недоразумение, которое было быстро улажено, с охраной, состоявшей из молодых ребят, вероятно срочной службы, у меня сложились прекрасные отношения. Дело в том, что режимом КПЗ предусматривалось хождение в туалет по графику, который исполняла охрана, я же по своей наивности и неосведомленности считал, что имею право ходить в туалет, когда захочу. Я стучался, меня не пускали. Я пожаловался при контрольном обходе начальства и получил соответствующие разъяснения.

Мне нравилось насвистывать, подражая птицам. Часами я прогуливался из угла в угол камеры, анализируя свое положение. Бдительная охрана засекала мой пересвист и снисходительно приняла мои объяснения. Мне было разрешено потихоньку насвистывать в камере, так как запрещение не было предусмотрено правилами.

Так прошел месяц. Допросами мне не докучали. Они проходили пару раз в неделю. Здания ДТО НКВД и КПЗ были соединены коридором, так что кроме стен камеры, туалета, коридоров и комнаты допросов я ничего не видел.

Исключение составлял небольшой дворик, в который меня и еще трех – четырех человек, ежедневно выводили на прогулку. Дворик представлял квадрат, две стороны которого были глухие стены КПЗ, а две другие – высокий деревянный забор, который был надстроен несколькими рядами колючей проволоки. В углу забора стояла вышка, где сидел охранник с винтовкой. Прогуливаясь кружочком под неусыпным оком одного или двух надзирателей, стоявших в углу напротив сторожевой вышки, мы являли собой копию одной из любимых мною картин – «Прогулка заключенных» Ван Гога. Каждый раз, когда я выходил на прогулку, мною немедленно овладевало желание бежать. Во время прогулки я рассчитывал, сколько шагов до забора и хватит ли у меня времени добежать, подтянуться, перевалить через колючую проволоку и, главное, что за этим забором. А вдруг там внутренний двор НКВД. Как это ни странно стрелок с винтовкой на вышке меня совершенно не пугал. Погруженный в свои планы я отставал от впереди идущего и разбивал непрерывность группы, за что пару раз получал окрик надзирателя. Сомнений и нерешенных проблем в осуществлении моих мечтаний было много и не знаю к добру или нет я не решился на попытку побега.

Следствие по моему делу вели два человека: сержант Смирнов и старший лейтенант Осипчик или Осипчук. Первое, что я отметил, знаки различия в петлицах не соответствовали армейским. У Смирнова в петлицах было по два кубика, что соответствовало армейскому лейтенанту, а у Осипчика – шпала, что соответствовало капитану. Допросы вел Смирнов, Осипчик появлялся редко и ко мне не обращался, а что-нибудь говорил Смирнову. Со следователем мне определенно повезло. Смирнов был спокойный, незлобивый, даже улыбочивый молодой человек. Даже в первые дни допроса он никогда не повышал голос, хотя я отказывался сообщить, откуда и когда выехал. В числе немногих предметов, которые лежали в моей противогазной сумке, была школьная тетрадка с надписью «170 школа Свердловского района», без указания города. В связи с этим был направлен запрос во все Свердловские районы СССР. Найти мой адрес следствию помог встречный запрос моей тети Сони: «Куда пропал мальчик Володя».

Монотонность моего сидения на втором месяце была прервана тремя событиями. Первым было появление во Ржеве моей дорогой тети Сони, вторая посадка ко мне в камеру партнера – ветерана первой мировой и гражданской войн и, наконец, явление прокурора Калининской железной дороги перед предъявлением мне обвинительного заключения.

Моя неумная беспокойная тетька Соня не могла смириться с моей пропажей. Она обратилась в Свято-Данилов монастырь, где в 1937 году я находился после маминого ареста. Вездесущие органы помогли ей найти меня во Ржеве. Следствие было закончено. Мне определили два пункта 58 статьи – 1а – измена родине и 10 – антисоветская агитация и статья 84 – переход государственной границы. В ожидании суда Соничке разрешили свидание и передачу. Свидание было кратковременным. Меня мучили угрызения совести за созданные семье неприятности, но раскаяния в содеянном не было.

Через несколько дней я был переведен в городскую тюрьму. Я принес туда печенье, полученное в передаче, и угостил всех сокамерников. Последнюю неделю в КПЗ у меня появился сосед. Ему было что-то около сорока или чуть больше, но мне он казался глубоким стариком. Это чувство определялось его рассказами о дореволюционном времени, о первой мировой войне, участником которой он был с самого начала и до Октябрьской революции. Память у меня в то время была превосходной. Я с первого раза запоминал систему чинов в армии, в казачьих частях и жандармерии, знаки отличия, наименование частей и соединений, фамилии генералов, командовавших соединениями. Эти и последующие беседы с другими моими

воспитателями в общей камере городской тюрьмы составили в моей голове довольно обширный энциклопедический справочник, многие страницы которого до сих пор сидят в моей голове и позволяют мгновенно обнаруживать фальшь в кинокартинах и телепередачах, которой, по правде сказать, немало.

Памятным событием было явление в мою камеру прокурора Калининской дороги. Вечером неожиданно загремели засовы и в камеру вошли трое: начальник КПЗ, сержант Смирнов и молодой незнакомый человек в гражданской одежде. Не удосужившись представиться, он сразу бросил: «Это и есть тот самый мерзавец» или что-то в этом роде. «Стрелять таких надо». И при этом топнул ногой. Несмотря на его суровый вид и угрозы он не произвел на меня никакого впечатления, больше того, на меня нахлынуло веселое настроение. Мне казалось, что Смирнов тоже в душе улыбается и сдерживается, чтобы это не было заметно.

Фантастическое обвинительное заключение, которое я подписал, и которое было направлено из ДТО НКВД в линейный суд Калининской железной дороги, суд возвратил назад. Суд не увидел доказательств измены родине. Но это уже было позднее. Детали этих злоключений моего дела я узнал лишь летом 1993 года, когда в процессе реабилитации читал свое следственное дело.

Следствие было закончено за два месяца и я познакомился с «Черным вороном», на котором меня доставили в городскую тюрьму. Надзиратель легонько подтолкнул меня в спину, я сделал шаг вперед, тяжело хлопнула массивная дверь. Злобно лязгнул засов камерного запора и я очутился в сумеречном, зеленоватом пространстве, просеченном узким лучом света. Этот луч - единственная связь с застенным миром прорывался сквозь узкую щель между стеной и «намордником». И я на несколько месяцев вошел в число жителей камеры № 16.

Окно камеры было расположено в верхней половине стены и заключенные могли увидеть кусочек голубого неба, лишь забравшись на камерный стол и прижавшись щекой к оконной нише. Последнее было категорически запрещено тюремными правилами и наказывалось карцером. Каждый раз возвращаясь в камеру после вызовов в ДТО НКВД я по неведомым ассоциациям переносился в воспоминаниях в раннее детство, в котором меня мама водила в Большой театр на балет «Конек-Горбунок», и память приводила сцену подводного царства с танцующими русалками. Правда, фигуры окружавших меня в камере «водяных», мало напоминали танцующих русалочек. Но я был охвачен радостным волнением - двухмесячное одиночество следственной камеры, наконец, завершилось. Я вошел в «новый мир». Вокруг меня образовалось живое кольцо острых любопытных глаз, которыми «старожилы» пронизывали меня насквозь. Мне подставили табуретку, и шквал вопросов обрушился на мою бедную голову.

В короткое время я близко познакомился со всеми сокамерниками, привязался к большинству, а некоторых полюбил. Но в первое свое «явление» я в качестве чужака был подвергнут дотошному квалифицированному допросу. Находясь в центре внимания незлобивых заинтересованных взрослых людей я радовался общению и отвечал, отвечал, отвечал... Вопросы сыпались один за другим: кто, когда, где и, главное, за что. В этот день я сумел уйти от ответов на большинство вопросов по существу своего дела. Позднее я осмыслил камерную этику, состоящую в том, что отвечать на вопросы, касающиеся следствия, не обязательно и каждый может говорить, что бог на душу положит, в зависимости от личной фантазии и изобретательности. Главную роль играло то, что я был «свежим» человеком «с улицы», а мои собеседники месяцы, а некоторые и годы были оторваны от бурных событий, которые кипели за толстыми тюремными стенами и потрясали мир. В то время моя молодая еще не

контуженая немецкими осколками голова содержала огромный набор событий, имен, другой информации, которая вызвала жгучий интерес слушателей. Я рассказывал о Мюнхенском соглашении, о только что происшедшем крушении и разделе Чехословакии, о войне в Китае, о трагическом кризисе Испанской республики, о боях с японцами у озера Хасан. Я помнил тогда огромный ворох забытых теперь неважных и никому не нужных дат, названий населенных пунктов, фамилий государственных деятелей и как заправский лектор подробно рассказывал на уровне своего детского восприятия о международном положении и о важнейших событиях в стране. Эти нехитрые рассказы принесли мне статус «своего» и я «без голосования» был принят в коллектив.

Кто же были мои слушатели, с которыми мне пришлось делить многие месяцы места на нарах и тюремную пайку. Лишь один из них за время моего «сидения» был судим, осужден и увезен от нас. Со всеми остальными я прожил вместе дружной артелью до моего осуждения Особым совещанием при НКВД СССР и последующего освобождения.

Итак, я был водворен почти во дворец с высоким сводчатым потолком, построенный еще в царские времена. Буро-красные, выкрашенные масляной краской стены были испещрены множеством цензурных и нецензурных надписей. У боковых стен располагались два ряда сплошных нар. У двери царствовала параша. А под окном в самом светлом месте камеры стоял небольшой стол. Над оконным проемом к самому потолку была прикреплена лампочка, закрытая стеклянным колпаком и сеткой из толстой проволоки.

Пришло время представить окружившие меня в табачном облаке силуэты, которые надолго стали моей семьей.

Наиболее общительными, деятельными, подвижными и заметными были два неразлучных друга, которые в камере постоянно находились рядом. Их называли «Старый сват» и «Молодой сват». Никто в камере не мог объяснить мне, откуда пошли эти прозвища. Но никто их иначе не называл. «Старый сват» был крепкий, крупный, круглолицый мужчина с добрыми глазами. Он был единственным в камере человеком, с которого усилия ржевских НКВДистов не смогли согнать лишний вес. Во время гражданской он был рядовым красноармейцем в кавалерии. В последующей жизни он спокойно преуспевал, а арестован был за не вполне лояльные анекдоты. В момент ареста он работал бухгалтером местного пивоваренного завода.

«Молодой сват» до ареста после окончания военного училища проходил службу в местной авиационной части в звании воентехника П ранга. Что соответствует технику-лейтенанту послевоенного времени. В камеру его привело «страшное» преступление. Во время майского парада 1939 года он был откомандирован на какой-то подмосковный аэродром для подготовки материальной части к полетам. После парада, по установившейся традиции, руководители партии и правительства устраивали в Кремле грандиозный прием, на который приглашались участники парада и, куда Коля, так звали «молодого свата», по своему положению, естественно, приглашен не был. Когда он вернулся в часть, начались вопросы с соответствующими «подначками»: где ты сидел на приеме, с кем сколько выпил и т.д. и т.п. Темперамент у Коли был взрывной. Он побежал к своей тумбочке (холостые воентехники жили в казарме) и вернулся с открыткой, на которой во всей своей маршальской красоте сверкал Климент Ефремович Ворошилов. На обратную сторону открытки Коля успел нанести «автограф» наркома: «На память товарищу по выпивке и закуске». Ребята посмеялись, но как-то очень сдержано. А утром Колю вызвали в штаб части, откуда была прямая дорога в нашу компанию. «Преступление» было налицо, и ему предъявили «политическое хулиганство» Он был единственный сокамерник, покинувший нашу команду за время моего пребывания в ней. Весь наш коллектив

переживал и сочувствовал Коле. Ему дали три года лагеря. Жалко было расставаться с молодым, незлобивым, бодрым, постоянно шутившим и смеявшимся товарищем. Однако, как потом признали, все ждали худшего и в душе считали, что он легко отделался. Правда, был уже 1939, а не 37 год, но суды все еще были непредсказуемы. К чести Ржевского суда отмечу, что вскоре он вернул мое дело в ДТО НКВД Калининской железной дороги, считая обвинение в «измене Родине» необоснованным. Но продолжим знакомство с сокамерниками. Пользуясь теплой заботливостью и доброй снисходительностью ко мне, я вел себя с подростковой развязностью. Однако в камере был человек, который одним взглядом без слов приводил меня в нормальное состояние и ставил на место. Это был преподаватель истории одной из ржевских школ по фамилии Абрамов. Еще при царе Николае он обучался в Московском университете и после его окончания непрерывно жил и работал во Ржеве. Низкорослый, щуплый, сильно сутулый, бородатый он любил присесть с кем-нибудь один на один и поблескивая очками в полутьме камеры проводить учительские собеседования о нормах поведения. И польза была. Место и нормы нашего существования способствовали неограниченному включению в нашу речь матерных слов и выражений. Абрамов органически не переносил мата и не обращая внимания на ответную реакцию, которая, как правило, была далеко не положительной, резко и жестко бросал: «Прекратите это мерзлейшее похабство. Это омерзительно». Не помню, чтобы его воспитание сильно действовало на остальных, учитывая, что одному из нас было более восьмидесяти лет. Но я с тех пор полностью исключил мат из своей речи. Ни армия, ни литейный цех, ни МТСовские будни не приучили меня к мату. Не переносил

Абрамов похабных анекдотов – этот жанр народного искусства у нас процветал. Еще до Октябрьской революции Абрамов вступил в РСДРП, но, «увы», был стойким меньшевиком, большевиком так и не стал и постоянно подвергался преследованиям всю свою сознательную жизнь. В то время его обвиняли в принадлежности к контрреволюционной организации. В предшествующий период он был основательно обработан следователями и подписал на себя целый ворох «реальных злодейств». Но пока дело дошло до суда, избиения прекратились и он от своих показаний полностью отказался. Страстью Абрамова была безграничная любовь к русской истории. Он мог часами рассказывать о князьях, царях, полководцах и флотоводцах, революционерах и подвижниках искусства. Времени у нас было предостаточно и всегда находилось два – три слушателя его пространных интересных рассказов, от которых он получал удовольствия не меньше, чем его слушатели.

Постоянное чувство нежной привязанности внука к деду я испытывал к восьмидесятилетнему деревенскому кузнецу Карлу Ивановичу Загеру. Этот могучий старик, казалось, сам был сформирован в кузнице ударами кувалды из качественной стали. Добродушный и немногословный он был постоянным объектом острот и шуток, однако, он на них практически не реагировал, и они отскакивали от его железной невозмутимости, как удары ручного молотка от массивного слитка. Карл Иванович, латыш по национальности, «естественно» обвинялся в шпионаже в пользу Латвии. Во время первой мировой войны он был конным разведчиком в русской армии. Это навело следствие на нехитрую подставку, и полуграмотный кузнец подписал протокол допроса с признанием, что являлся «контрразведчиком». Этот кряжистый несокрушимый дуб, казалось, легко переносивший все удары жизненных бурь и в дотюремной жизни стоял, как утес среди житейского моря. У него осталось в деревне крепкое хозяйство, которое включало корову, несколько свиней и овец. Но главным объектом его рассказов о доме, а также подшучивания заключенных,

была его восемнадцатилетняя жена. Этот факт не подлежал сомнению, так как, ввиду завершения следствия, ему было разрешено свидание и она приезжала во Ржев с передачей. Трудно, не зная обстоятельств, определить, что двигало поступками этой женщины, сам кузнец или его хозяйство. Однако, под каскадом шуток он однажды в припадке откровенности поведал нам, что жена жаловалась на то, будто он замучил ее приставаниями.

В камере находились еще двое заключенных, обвинявшихся в шпионаже, но в пользу Эстонии. Один из них паровозный машинист по фамилии Иокст был солдатом в первую мировую, красноармейцем – в гражданскую, а затем работал в угрозыске. Второго, которого я очень плохо помню, был молчаливый, сдержанный, сухощавый человек, с примесью эстонской крови по фамилии Брацишко.

Для меня, пацана по возрасту и жизненному опыту, все сокамерники были личностями, полными знаний и прошедшими через невероятно интересные, неведомые мне события. Поэтому я был благодарным, терпеливым слушателем и представлял для каждого из них заинтересованного собеседника, с которым можно коротать бесконечные часы тоскливого камерного однообразия.

В камере находился еще один заключенный, который резко выделялся среди всех своим широким кругозором, образованием и безоговорочно принятым всеми положением лидера. Знакомство, а затем и дружба с ним сыграли исключительную роль в моей ржевской тюремной жизни.

Действительно, мне в ржевской тюрьме повезло почти как Дантесу в замке Иф. Среди заключенных оказался мой «аббат Фария». Правда, наша встреча не принесла мне сокровищ, но внесла в монотонные дни сидения в городской тюрьме невероятное оживление и разнообразие. И уроки, полученные мною, оставили след во всей дальнейшей жизни.

Моим «аббатом» был бывший директор ржевской льноперерабатывающей фабрики «Красная Звезда», а до того референт видного партийного и государственного деятеля Наркома легкой промышленности СССР Исидора Евстигнеевича Любимова. Звали моего покровителя и опекуна Борис Иванович Юштин. Жизнь Юштина до ареста проходила под счастливой звездой. Высокий, красивый, спортивный, несомненно, очень способный он после окончания Института легкой промышленности был направлен на практику в Германию, а после возвращения на работу в Наркомлегпром. Долгие месяцы заключения и обработка, проведенная следователями, довели его до высокой степени физического истощения. Он был худ на уровне «кожа и кости». Его истонченные руки теперь ассоциируются у меня с руками ленинградских блокадных детей, которых мы в начале лета 1942 года, когда я работал кочегаром на пароходе «Жемчужина», перевозили по Волге и Каме в хлебную Татарию на откорм. Удивительно, но при этом он сохранил быстроту движений и, главное, подвижность и остроту мышления. Голубые горящие глаза на изможденном лице излучали энергию и бодрость. Его рассказы - бесконечная гирлянда заграничных командировок, любовных приключений и интересных технологических решений по обработке льна. Он занимался со мною английским и арабским языками, игрой в шахматы. Трудно поверить, но факт – нарисованная

мокрой спичкой по натертому табачным пеплом тюремному столику арабская азбука сохранилась в моей памяти на всю жизнь.

Много рассказывал он мне про своего бывшего шефа И.Е.Любимова. Борис Иванович знал, что он осужден и расстрелян еще в 1937 году. Однако, находясь под обаянием его незаурядной личности, подробно посвящал меня в то, как костромской крестьянин, в двадцать лет вступивший в РСДРП, уже в двадцать пять стал делегатом 5-го (Лондонского) съезда партии, после

революции последовательно занимал посты председателя губисполкома, члена реввоенсовета и председателя Совнаркома Туркестанской республики, председателя Главхлопкопрома, председателя правления Центросоюза, заместителя наркома внешней и внутренней торговли и, наконец, с 1932 года и до ареста, наркома легкой промышленности. И.Е.Любимов успешно справлялся со всеми обязанностями. Он был расстрелян в ноябре 1937 года и посмертно реабилитирован.

Свои истории Борис Иванович любил рассказывать мне за игрой в шахматы, за которой мы коротали часы нашего бесконечно текущего времени. Эти шахматы, я изготовил под его руководством. Маленькие фигурки были вылеплены из мягкого хлеба. Черные оставались в натуральном цвете высушенного хлеба. Белые – красились зубным порошком. Доска готовилась на каждую игру. Для этого на столике равномерно растирался табачный пепел. А затем влажной тряпочкой протирались черные клетки. Эта тихая шахматная игра однажды привела меня к знакомству с тюремным карцером. Обычно мы бдительно следили за «очком», через которое тюремные надзиратели периодически наблюдали за нами. Надзиратели делились на две категории. Одни нарочито гремели заслонкой «очка», при этом они не всегда заглядывали в него. Цель их была поиграть у заключенных на нервах и постоянно напоминать, «что стража не дремлет». Другие бесшумно отодвигали заслонку и длительное время наблюдали за жизнью в камере, пытаясь узреть что-либо предосудительное. Как правило, это были безнадежные потуги, так как если мы и творили что-то незаконное, один из нас своим телом прикрывал обзор. Не всегда мы успевали перейти в невинное состояние, пока надзиратель гремел отпираемыми запорами и открывал дверь. В тот день в камере было благодушное и ленивое настроение и «очко» никто не страховал. Да собственно и не происходило ничего предосудительного, если не считать, что мы с Юштиным играли в шахматы. Собственно, шахматы не значились в перечне азартных игр, запрещенных для заключенных. Внезапно мы услышали шум отодвигаемой заслонки, и кто-то тихо произнес «все дома». Черт меня попутал, и я добавил довольно громко «никто пока не помер». Угрожающе загремели быстро открываемые затворы, и в камеру ворвался «Сам» начальник тюрьмы в сопровождении двух надзирателей. Начальник подобно коршуну ринулся к нашему столику и, увидев наше мирное хлебно-пепельное игрище, закричал: «Что за безобразие, почему допускаете грубое нарушение режима». И не дожидаясь нашего объяснения, скомандовал старшему надзирателю, указывая на меня: «Увести». Меня вывели. Препроводили в нижний этаж и затолкнули в небольшой каменный мешок размером 2х1.5 м. с вентиляционным оконцем под потолком. Это был «теплый карцер». Загремел засов и я, при свете маленькой лампочки, прилепленной к потолку, начал изучать мой «роскошный дворец».

Это было не сложно. Единственной достопримечательностью были стены, покрытые облезшей штукатуркой, испещренные множеством цензурных и нецензурных надписей и проклятий.

Бетонный пол не был полностью очищен от испражнений моих предшественников. Единственное напутствие, которое я получил от запирающего меня конвоира: «Не стучи. Никто не услышит и не откроет». Лампочка была, видимо, на 25 вт., поэтому, несмотря на малые размеры помещения, я приступил к изучению автографов, когда глаза привыкли к полутьме. Была середина лета, и примерно через полчаса я в полной мере ощутил все прелести своего нового жилища и понял суть названия «теплый карцер». В холодный сажали зимой. Тело постепенно покрывалось все более густой испариной. Легкая тошнота перешла в головокружение. Присесть было не на что. В карцере не было ни одного предмета, даже параши. Но я пребывал

в хорошем настроении и мысли мои крутились вокруг вопроса «как они там». А они волновались, шумели и стучали в дверь, и требовали вернуть «малолетку» в камеру. В результате этого, а может быть и по другой причине, я часа через четыре был возвращен в мое родное жилище в камеру №16.

Кроме шахмат, в камере от обыска до обыска постоянно была игра в домино. Но верхом рукодельного искусства и конспирации были игральные карты, которые не могли обнаружить даже при самых жестоких «шмонах». Кости домино лепились из мягкого хлеба и не представляли собой ничего особенного. Игральные же карты представляли пример технического творчества и подлинного искусства. Первоначально из листочков курительной бумаги с помощью хлебного клейстера склеивались жесткие карточные листочки. Сам клейстер являл образец «высокой технологии». Он приготавливался путем длительного жевания и последующего процеживания через носовой платок. Потом клейстер ровным слоем наносился на листочки. Они аккуратно складывались и помещались под матрас на прессование и сушку. Далее проводилась главная операция – раскраска. Единственным художником и хранителем колоды был «старый сват». Он принимался за изготовление новой колоды, когда старая становилась ветхой. Рисунок наносился чернилами, приготовленными из грифеля чернильного карандаша, а затем карты раскрашивались обломками грифелей цветных карандашей, извлекаемых для этой цели из тайников в камере и из углов одежных швов. После изготовления новой колоды старая спускалась в туалет. Играли в карты в углах камеры, недоступных обзору через «очко». Поскольку выигрывать и проигрывать было нечего, игры в карты и домино носили престижный характер и велись, главным образом, для времяпрепровождения.

Более важным элементом коротания уныло тянущихся дней было тихое пение. В сумме заключенные знали бесконечное количество песен самых различных жанров, и у большинства были очень приличные голос и слух. У каждого певца был более или менее определенный репертуар. Особенно преуспевали в качестве запевал наши «сваты». Чаше других они собирали кружок слушателей, которые по мере возможности подтягивали песни. В репертуаре «Старого свата» были, главным образом, песни гражданской войны и первоначального советского периода. Песни были безапелляционные, яркие, образные, в соответствии со временем их создания, с нехитрыми, но хорошо запоминающимися мотивами. Почти шестьдесят лет прошло, но эти песни буквально въелись в мою память.

От голубых Уральских гор, в боях

к Чонгарской переправе

Прошла тридцатая вперед в пламени и славе

Или:

*Стальной грудью врагов сметая пошла на битву двадцать седьмая,
У Енисея коней поила, в широкой Висле врагов топила...*

Любил он и песни красных курсантов:

Школа красных командиров

комсостав стране своей кует

Смело в бой идти готовы за трудящийся народ...

Любимая бесхитростная песня пулеметчиков:

Я пулеметчиком родился, в команде Максима возрос.

Припев – *короб, кожух, рама, шатун с мотылем,*

Возвратная пружина. приемник с ползуном.

Раз, два. Три, Максим на катки.

Подносчик дай патроны, наводчик наводи(2 раза).

Наш пулемет в бою горячий. Не остывает никогда,

Припев (2 раза)

Мы в бой поедем на тачанке и пулемет с собой возьмем.

Припев (2 раза)

Пели и широко известную в то время:

Дальневосточная опора прочная.

Союз растет, растет непобедим

И все, что было кровью завоевано,

мы никогда врагу не отдадим...

Но коронным номером «Старого свата» была бесконечная песня про красноармейца, конного разведчика. Эту песню, протяженностью более двадцати куплетов, особенно любил Карл Загер. Он готов был слушать ее тихонько подпевая, несколько раз подряд.

Красноармеец был герой на разведку боевой.

Эх,эх, красный герой на разведку боевой.

На разведку он ходил, все начальству доносил...

Трагический конец этой песни, когда разведчик был захвачен белым разъездом и после допроса казнен, он не мог слушать без слез.

Красноармеец промолчал, острый штык в груди торчал

Эх, эх, красный герой, на разведку боевой.

Репертуар «Молодого свата» отличался коренным образом. Он состоял из двух частей: блатные песни и строевые песни времени его пребывания в училище и в части. Среди блатных были бесконечные варианты «Гоп со смыком»..., начиная с «От развода прячемся под нары...» и кончая широко популярной в то время матерно-блатной. « внешнеполитической декларацией». Примерный куплет этой песни достаточно четко характеризует ее содержание:

Раз пришел Италии посол. Хрен моржовый глупый как осел.

Говорит, что Муссолини вместе с Гитлером в Берлине

Разговор про нашу землю вел. Я ему ответил это вот:

Ах ты курва ...в рот

Ты моржовый хрен в томате. Ты кусок говна в салате и т.д.

Исполнение этих куплетов всегда встречало яростное сопротивление Абрамова. Остальные же насколько я помню. Слушали с удовольствием,

Строевые песни тех лет безнадежно забыты, но я приведу пример:

Крепи пилот дозор боевой

Вершины мира в тисках сжимает кризис

Трещит прогнивший строй к гибели близясь.

*Миллионы рабов из лачуг и полей
Сметут в грозный час золоченных королей.*

Или:

*Низвергнута ночь, поднимается солнце над гребнем рабочих голов
Вперед комсомольцы, вперед краснофлотцы на вахту встающих веков.
Вперед же по солнечным реям на фабрики, шахты, суда.
По всем океанам и странам развеем мы алое знамя труда.*

Песни Абрамова были из другого мира. Он никогда не пел никаких советских песен. Зато знал бесконечное множество народных и ставшими народными песен каторги и ссылки царского времени. Помнил эти песни с тех дней, которые провел в ссылке в дореволюционный период.

*Как дело измены, как совесть тирана, осенняя ночка темна.
Темней этой ночи встает из тумана видением мрачным тюрьма.
Кругом часовые шагают лениво,
В ночной тишине то и знай
Как сон раздается протяжно, тоскливо
Слушай...*

Или:

*Не за пьянство, не за буйство и не за грабеж ночной,
Стороны родной лишился за христианский люд честной...*

Одна из песен Абрамова очень нравилась мне. Ее напряженный волнующий мотив и спокойные слова я полюбил на всю жизнь

*Хороша эта ноченька темная
Хорошо этой ночью в лесу
Выручай меня силушка мощная.
Я в неволе свой срок не снесу.
Вот рванул я решетку железную.
Застучали в стене кирпичи
И услышала стража тюремная:
«Эй, сорви голова, не стучи».
Но забилося сердце тревогою.
Кровь по жилам пошла ручейком
Дай попробую снова решеточку.
Поднажму молодецким плечом.
И упала решетка железная.
И упала она не стуча.
Не услышала стража тюремная.
Не поймать вам меня молодца...*

Несмотря на самые разнообразные вкусы и пристрастия моих сокамерников, несмотря на их несопоставимый уровень образования и

социального положения до ареста, любая песня всегда принималась дружелюбно, поднимала настроение в камере и приносила доброе умиротворение, увеличивая совместимость и сглаживая, периодически возникающую между отдельными заключенными неприязнь.

Я не остался в стороне от коллектива «певцов». Мама моя родилась в Одессе, где ее детство и юность прошли на Молдаванке. Одесские мотивчики: «Прихожу я в ресторан, сажусь за стол, скидываю шапку, бросаю на пол...», «С одесского кичмана бежали два уркана...», «Как на Дерибасовской угол Ришельевской...» и подобные им были впитаны мною «с молоком матери». Мама имела очень приятный голос и веселый нрав, унаследованный от нее репертуар был по достоинству оценен в камере и способствовал моему признанию в качестве «своего парня».

Другой причиной, способствовавшей росту моего авторитета в камере стали мои способности по установлению и поддержанию связи с нашими соседями. Еще до своего «путешествия в Испанию» я выучил азбуку Морзе. Но попытки перестукивания еще в камере следственного изолятора натолкнулись на полное непонимание соседей. Хотя я четко выстукивал: точка – тук, тире – тук, тук. Теперь в 16-ой я быстро и в совершенстве овладел «бестужевкой» – тюремной азбукой, которую согласно арестантским легендам изобрел декабрист Бестужев. Эта нехитрая азбука строится на выстукивании сначала номера ряда, состоящего из пяти букв, а затем места буквы в ряду. По принятой у нас азбуке, код выглядел следующим образом:

Место буквы в ряду					
Номер ряда	1	2	3	4	5
1	А	Б	В	Г	Д
2	Е	Ж	З	И	К
3	Л	М	Н	О	П
4	Р	С	Т	У	Ф
5	Х	Ц	Ч	Ш	Щ
6	Ь	Ъ	Э	Ю	Я

Например, буква А выстукивалась следующим образом – один удар и один удар; Т соответственно – четыре удара и три удара. Постукивая в стену, я внутренним голосом напевал сначала заглавную букву ряда А, Е, Л, Р, Х, Ъ, а затем букву в ряду. Таким образом, не нужно было запоминать шифра каждой буквы и связь работала безошибочно. Азбука Морзе применялась нами лишь в сторону одной камеры, где ею в совершенстве владел командир РККА (Рабоче-крестьянской Красной Армии). Срочный сигнал подавался в случае внезапной необходимости. Например, получив справа сведения о проведении в тюрьме планового всеобщего обыска, я срочно отстукивал налево: «шухер, шмон». Обыски проводились часто, как систематические плановые, так и внезапные, всей камеры или только заключенных по пути в туалет. Обычно, всех выводили в коридор, расстанавливали с интервалом, примерно, в полтора метра и давали команду раздеться и положить одежду на пол. Надзиратели блестяще владели техникой обыска. Они заглядывали в рот, в уши, в задницу. Тщательно

перетрясали одежду, проминая все швы. Затем нас заводили в туалет. А в это время полному разгрому подвергалась камера. Но как ни старались наши хозяева, они почти всегда оставались ни с чем.

Наши потери, как правило, не превышали одного – двух обломков карандашных грифелей, извлеченных из углов швов. У большинства заключенных обыски вызывали сильное раздражение. Некоторые же, к которым принадлежал и я, относились к этой процедуре как к занятой игре, в которой выиграть невозможно, но важно не проиграть.

Так день за днем прошли лето, осень, наступила зима. В камерной жизни ничего не менялось, разве что для выхода на прогулку надо было потеплее одеваться. Меня давно не возили к следователям, и я начал забывать об их существовании. И вдруг, в один из однообразных дней застучал запор, дверь отворилась, и надзиратель сказал «Тарский, с вещами на выход». При этом он не уходил, лишив меня возможности обменяться с моими многоопытными товарищами какой-либо информацией. Собрать «вещи» я успел за полминуты. Меня вывели во двор и посадили в «воронку». Жалко, переводят, подумал я. Мы вылезли в ДТО НКВД, где сопровождающий передал меня сотруднику, который ожидал у проходной. Мы пошли, но не в маленький кабинетик Смирнова, а в большой кабинет начальника, которого я раньше не видел. В кабинете были высокий человек

с двумя шпалами, Осипчик, Смирнов и еще один сержант. Мне предложили сесть, начальник прочитал решение Особого совещания при НКВД СССР, передал его Осипчику и вышел. Содержание решения было короткое: «Обвиняемого по ст. ст. 58-10 ч. 1 и 84 УК РСФСР гр.Тарского В.Л. освободить из-под стражи с зачетом в наказание срока предварительного заключения». Меня попросили расписаться в получении справки об освобождении, а затем в том, что я обязуюсь не разглашать обстоятельств и материалов дела, причем Осипчик особо подчеркнул, чтобы я никому не рассказывал, как обошел наших пограничников. Я расписался. Мне вручили билет до Москвы, за что я тоже расписался. Затем ДТО НКВД сделало роскошный жест. Меня на газике отвез на вокзал Смирнов и пожелал мне с улыбкой счастливого пути.

Прошло много лет, пока 18 октября 1991 года был принят Закон РСФСР «О реабилитации жертв политических репрессий». Согласно этому закону все решения «Особого совещания НКВД СССР» были отменены, так как само это «совещание» было признано незаконным органом. Наконец, от прокурора г. Москвы 23 июня 1993 года я получил справку о реабилитации и смог в МВД ознакомиться со своим следственным делом. В деле не оказалось ряда документов, о которых я помнил, зато оказались документы, которые мне во время следствия не показывали. В числе этих документов было заключение какого-то, видимо, большого начальника на обвинительном заключении: «Согласен, 5 лет», расшифровки фамилии, должности, звания не было. Особое совещание поступило со мной более милосердно, ограничившись уже отсиженным годом.

Но больше этого меня взволновали лежащие в деле допросы свидетелей. Неожиданными оказались показания молодой женщины, которая числилась в нашей школе «инструктором ЦК ВЛКСМ по комсомолу». В коротком ответе она сообщала, что я ни в каких предосудительных поступках или выступлениях не замечен. Более печальными были показания моей любимой учительницы, которой я по своей наивной искренности излагал, что думаю о существующем в стране порядке. Несколько смягченные, но сохранившие смысл мои высказывания были изложены. Видимо это, да и мои злополучные листовки определили, что статья 58-10 п. 1 была оставлена Особым совещанием. Смехотворным было приобщение к делу «знамен», вырезанных из бумаги для

бумажного же моего воинства, которым я играл в войну со своими младшими сестрами.

В общем и целом этот прошедший в тюрьме год моей жизни сильно изменил мой характер. В моей справке о реабилитации имеются такие «ценные сведения»: место работы и должность (род занятий) до ареста – несовершеннолетний, ученик шестого класса школы 170 г. Москвы. Итак, год прошел, а я остался учеником 6 класса, а не 7-го как было бы, если бы я не отправился в Испанию. Я вернулся в 6 класс, правда, другой школы и окончил его как и последующий 7 на одни пятерки в июне 1941 года.

Коренным образом изменилось мое отношение к маминим сестрам Соне и Розе. Меня постоянно мучили угрызения совести за «неприятные последствия», которые обрушились на них из-за моего «легкомысленного путешествия». Они со своей стороны прекрасно понимали мое состояние и ничем не напоминали мне о прошедших событиях. Я же получил урок на всю жизнь и в дальнейшем всегда взвешивал возможные последствия и неприятности, которые могут обрушиться на других из-за моих действий. И всегда старался избегать этих последствий. Соничка старалась успокоить маму, которая находилась в лагере в г. Юрге и писала ей, какой я стал хороший мальчик – внимательный, старательный, ласковый и т.п.

Кроме учебы меня захватили бурные события международной жизни. В начале это был Советско-Финляндский конфликт, который начался, когда я еще был в тюрьме, а затем с 1940 года Германский «блиц-криг» последовательно сокрушавший Данию, Норвегию, Бельгию, Голландию, Францию...

19 июля 1940 года из заключения был освобожден Вениамин Львович «в связи с прекращением дела производством». Он стал добиваться освобождения мамы, которая находилась в лагере «как член семьи изменника родины», что в связи с его освобождением не соответствовало «действительности». Однако, «органы» не проявляли быстроты и оперативности, которые были им свойственны при арестах и осуждениях. Маму освободили лишь через полгода 21 декабря 1940 года. Ни нашу квартиру в Москве, ни квартиру Вениамина Львовича в Калининне, где его арестовали, не вернули. Наша семья, наконец, в количестве восьми человек собралась на Каляевской в квартире нашей тети Сони.

Некоторые даты и события жизни:

31.03.39 г. Я передан в ДТО НКВД Калининской железной дороги и направлен во внутреннюю следственную тюрьму.

13.04.39 г. Подготовлено обвинительное заключение по ст. 58 ч. 1, 58 п. 10 ч. 1, СТ. 84. Дело передано в линейный суд Калининской ж.д.

19.05.39 г. После возвращения дела судом проведено повторное расследование. Подготовлено обвинительное заключение по ст. 58 п. 10 ч. 1 и ст. 84. Переведен в Ржевскую городскую тюрьму.

27.09.39 г. Дело направлено в 1 спецотдел НКВД СССР.

20.10.39 г. Заключение НКВД по следственному делу «5 лет высылки».

17.12.39 г. Решение Особого совещания при НКВД СССР «Нелегальный переход государственной границы»; «Освободить из-под стражи с зачетом в наказание срока предварительного наказания».

01.40 г. Освобождение.

28.06.93 г. На основании ст. 3 п. б и ст. 5 п. а «Закона о реабилитации жертв политических репрессий» от 18.10.91 - реабилитирован.

От Кенигсберга до Чойбалсана

Над дорогою пыль, глаз от солнца плачет.
 По равнине монгол с подругою скачет.
 Четкий рокот копыт, кони словно сестры,
 Развевая хвосты, дует ветер острый.
 Юрта в дали степной, как лодочка тает.
 Караван журавлей на юг улетает:
 Стала ночь холодна. Утром блещет иней.
 Подмерзают края у лужицы синей.
 Углубляется лис, мышка землю роет
 Зимний день недалек, уж не за горою.

С войной я познакомился всерьез 22 июля 1941 года во время первого налета немецкой авиации на Москву. Не помню, за сколько дней до этого налета в нашем доме, семиэтажной скалой возвышавшемся на углу Каляевской улицы и Оружейного переулкa, были сформированы «команды» из жителей дома допризывного и послепризывного возрастов для дежурства на чердаке в противопожарных целях. На чердаки были подняты ящики с песком и бочки с водой. На вооружение нам выдали клещи с длинными ручками для захвата зажигательных бомб. В первый налет на наш дом не упало ни одной бомбы, ни фугасной, ни зажигательной. Не ощущая чувства опасности или страха, мы наблюдали грандиозную картину воздушной битвы за Москву с крыши дома. Прожекторы чертили по небу замысловатые линии, линии сходились в точке, к которой с земли устремлялись цепочки зенитных снарядов. Гудели самолеты, гремели выстрелы и разрывы. Город, погруженный в светомаскировку, озарялся осветительными бомбами и пожарами. Впрочем, пожаров было сравнительно немного. Утром мы узнали, что немцы разбомбили несколько крытых рынков, находившихся возле вокзалов, приняв их, видимо, за вокзальные корпуса.

Часть 1. Вперед, на запад

1944 год пролетел для меня быстро по схеме: часть, бой, ранение, госпиталь и вновь часть, бой, ранение, госпиталь... В октябре 1943 года в составе маршевого батальона я прибыл в 71-ю гвардейскую орденa Ленина Краснознаменную, тогда еще не Витебскую, стрелковую дивизию. Дивизия располагалась в районе г. Невель в составе 2-го Прибалтийского фронта.

В середине января многие солдаты и офицеры из управления дивизии были направлены в полки. Меня направили в 219-й, тогда еще не Полоцкий, стрелковый полк. Позднее я узнал, что дивизии было приказано наступать фронтом на север, на железную дорогу Москва – Рига с целью сорвать переброску немецких частей, противодействующих прорыву блокады Ленинграда. 31 января полк начал наступление по глубокому снегу почти без артподготовки. Предварительно я (помкомвзвода) с командиром взвода просмотрели направление атаки. Наша цель была как можно быстрее добежать до бугра, находившегося на полпути до немецкой траншеи, а затем рывком

добраться и до самой траншеи. Мой рост 165 см, сложен был я плотно, поэтому мне всегда выпадала честь идти вперед с ручным пулеметом ДЛ.

По сигналу ракеты мы поднялись и, увязая в снегу, устремились вперед. Немцы открыли огонь. Справа и слева от меня падали бойцы. До бугра, который мы высмотрели заранее, я и командир взвода добрались без ранений. Я установил свой «Дегтярев» и открыл огонь в сторону немецкой траншеи. В ответ немцы начали бить по моему пулемету. Меня ранило в обе руки. Командир взвода дал команду ползти назад и взять пулемет с собой. Немецкие пули попали в левый лучезапястный сустав и правое плечо. Вытащить пулемет руками не было сил. Я зажал ремень пулемета зубами и пополз к нашему переднему краю. Меня встретили, перевязали обе руки, забрали пулемет и отправили «своим ходом», поскольку ноги у меня ходили хорошо, в направлении санбата. Через полчаса я был в санбате. На обе руки наложили гипс и на машине отправили в госпиталь в г. Невель. Госпиталь размещался в церкви. В помещении было чисто, тепло и светло. Не помню, чтобы раны доставляли мне какие-нибудь страдания. Помню, что сестрички кормили меня ложечкой, так как гипсы на обеих руках не давали мне держать ложку самому. Зато давали возможность «клещами», из которых невозможно было вырваться, обнимать милых сестричек. Через несколько дней на машине меня с группой раненых отправили в Великие Луки.

Великие Луки представляли обширную бугристую снежную долину. Говорили, что немцы изощренно закладывали мины в печи сгоревших домов перед тем, как сдать город, чтобы затруднить его восстановление. Подобное мы наблюдали в районах озер Большой и Малый Иван.

На всю жизнь в память врезана картина. Две женщины с десятком ребятишек собрались возле котла, в котором в мирное время запаривали корм скоту, и пытаются приготовить еду из кусков мяса, отрезанных от убитой лошади. Кругом все взорвано и сожжено.

Из Великих Лук поездом меня перебросили в г. Торжок. Помню, в Торжке ведущим врачом у меня была мобилизованная женщина, зубной врач. Она приговорила мою левую кисть к ампутации. Но, на мое счастье, меня переправили в Москву, в госпиталь 5004, широко известную Яузскую больницу. Здесь доктор Маршак аккуратно довела обе мои руки до «боевой готовности», и я вновь отправился на запад.

Назначение было в 208-й запасный стрелковый полк 3-го Белорусского фронта. В полку нас агитировали пойти связистами в оперативную группу гвардейских минометных частей. Всё было под большим секретом. Нам сообщили только номер В/Ч 31854. Трех человек, включая и меня, отобрали, мы согласились, и нас отвезли в часть, названия которой мы не узнали. Только передовой наблюдательный пункт располагался в районе боевых порядков пехоты, а огневые позиции находились около километра от него. Задача состояла в поддержании телефонной линии в рабочем состоянии. Немцы периодически вели артиллерийский огонь, и телефонные линии несколько раз в день выходили из строя. На второй день я пошел восстанавливать линию от огневой до ПНП и попал под минометный обстрел. Ликвидировал обрыв и отправился обратно. Немецкий миномет бил по тому же месту, связь опять была прервана, и я вновь соединил линию. Не успел сделать несколько шагов, как осколок невдалеке разорвавшейся мины ударил мне в левую ногу. «Опять отвоевался». Рана была легкой. Я добрался до расположения, меня отправили в санчасть извлекать осколок. Не помню, какую медицинскую субординацию пришлось пройти, но я снова оказался в 208-м запасном стрелковом полку.

На этот раз в составе большой группы выписанных из госпиталей легкораненых попал в 17-ю Гвардейскую Духовщинскую Краснознаменную стрелковую дивизию 3-го Белорусского фронта. В дивизии сразу направили в 3-

ю гвардейскую разведроту. Дивизия вела бои за высоты, перекрывавшие продвижение к Витебску. В этой разведроте я провоевал 3 дня. В первый день в составе взвода мы уточняли расположение переднего края немцев. Выполняя задачу, мы выявили позиции немцев, вызвав огонь на себя, и вернулись без потерь. День отдыхали, а 19 мая получили приказ срочно установить стык на правом фланге дивизии, который потерял наш правифланговый батальон. Группой человек десять мы отправились выполнять приказ. От флангового батальона, осторожно маскируясь, двинулись дальше вперед и направо. Пройдя еще с полкилометра, мы неожиданно напоролась на неизвестно куда и зачем бредущего немца. Вернее, он напоролся на нас. Увидев нас, он отбросил винтовку и поднял руки. Удача! Еще и языка подобрали! Пройдя еще с полкилометра, мы вышли на левый фланг соседней дивизии. Языка у нас сразу забрали, так как он якобы был захвачен в «чужой полосе».

Уточнив соседям на их карте положение нашего правого фланга, мы отправились обратно. Тут и начался ад кромешный. Сначала нас, по-видимому, обнаружили немцы и открыли минометный огонь. Затем, не разобравшись в сути, на всякий случай, открыли огонь наш и соседский стрелковые батальоны. Несколько осколков попали мне в ягодицу, а также в область тазобедренного и голеностопного сустава. Бежать с группой я не мог, и мне пришлось выбираться самому. Я выбирался через поле, забитое противопехотными минами, удивляюсь до сих пор, как я добрался до какого-то медпункта. Далее работал конвейер.

Я был отправлен через Смоленск в Гжатск, в госпиталь 2714, где мне вытащили осколки из мягких тканей, затем вновь оказался в госпитале 5004 у Яузского моста. В госпитальном дворе я встретил сестру, которая обслуживала нашу палату. Она узнала меня и спросила: «Володя, у тебя что, рана открылась?» – «Нет, – говорю, – меня снова ранило». – «Врешь!». Пришлось продемонстрировать, что ранены не руки, а задница. В московский госпиталь я попал в конце июня, а 29 июля был выписан в 440-й батальон выздоравливающих, который находился в Свято-Даниловом монастыре, на 14 дней до полного заживления раны. В батальоне выздоравливающих мы разгружали баржина Москве-реке и рыли братские могилы на Ваганьковском кладбище. Отправляли из Москвы нас шикарно: на пассажирском поезде с Белорусского вокзала до Смоленска. В Смоленской комендатуре, куда мы обратились за назначением, нас направили в Минск.

Еще в Москве я подружился с... Вдвоем мы пристроились на платформу, на которую уже пристроились две девицы. К утру поезд дополз до Орши, и мы устремились на вокзал. На вокзале скопилось более сотни военнослужащих. Все шумели, ругались с комендантом, требовали отправить на запад. Неожиданно обстановка резко изменилась. К платформе подошел первый пассажирский поезд «Москва – Рига». Вагоны были заполнены офицерами и генералами. Не успел поезд остановиться, как на крышах всех вагонов разместились люди, рвущиеся на запад. Комендант с несколькими автоматчиками влезли на первый вагон и начали сгонять с него непрошенных пассажиров. На очистку вагонов ушло минут пятнадцать. Но как только комендантская команда перешла на второй вагон, на первом вновь разместилась толпа. Комендант вновь вернулся на первый вагон и стал почти со слезами уговаривать очистить крышу. Он говорил, что немецкая авиация обстреливает поезда, поэтому проезд на крыше запрещен. Стоянка поезда уже превысила полчаса, а количество разместившихся на крышах вагонов все увеличивалось. Обстановка была пиковая. Вдруг раздался выстрел. Это генерал-лейтенант выпрыгнул из вагона и выстрелил из пистолета вверх и громко закричал: «Коменданта ко мне!». Бедный комендант, не помню, капитан или старший лейтенант, слез с крыши вагона и бегом подбежал

к генералу. Разговор был короткий: «Или через пять минут поезд отойдет, или в Орше будет другой комендант!»

Поезд отошел, и торжествующий народ на крышах вагонов кричал прощальное приветствие городу Орше и коменданту станции. Немецкие самолеты не появлялись и не бомбили. Но все же кое-где пути были разбиты, и два дня мы добирались до Борисова и еще день до Минска. Прошло уже больше месяца после освобождения Минска, но, когда утром мы прибыли на вокзал, некоторые полуразрушенные здания еще слабо дымились после ночной бомбардировки. Целую неделю нас гоняли по квадрату Вилейки – Ошмяны – Вильнюс – Каунас, пока 20 августа я, наконец, попал в 183-ю АЗСП, а оттуда в полковую разведку 757-го Неманского стрелкового полка.

Под давлением наших войск немцы оставили Волковыск и медленно отходили к границе Восточной Пруссии. Прикрывая границу Рейха, они яростно сопротивлялись. У них было подготовлено большое количество запасных позиций, и полковая разведка все время была в поиске, выявляя, где немцы остановились для обороны. На рассвете 24 августа мы отправились в очередную поисковую, осторожно продвигаясь по несжатым полям. Выйдя на широкую межу между двумя полями, неожиданно лоб в лоб столкнулись с немецким аррьергардом. И мы, и они открыли беспорядочный огонь и отскочили каждый в свое поле. Раненых у нас не было, мы залегли и вели огонь, чтобы не дать немцам атаковать нас. Главная нагрузка легла на мой ДП, который мне был торжественно вручен перед поиском. Немцы на звук пулемета стали стрелять из винтовочного гранатомета. Сообразив, что к чему, я дважды успел сменить позицию. Но немцы быстро пристреливались по звуку, и очередная граната разорвалась рядом со мной. Меня как будто кто-то ударил дубиной по голове, по шее и по правому плечу. На какое-то мгновение я потерял ориентировку, но быстро опомнился и доложил старшине, командовавшему нашей группой, что больше огня вести не могу. Он забрал у меня пулемет, а один из бойцов обмыл мое лицо водой из фляжки и перевязал голову.

Я сориентировался по направлению на передний край и потихоньку двинулся. Солнце поднималось, над полем стоял туман на высоту примерно метра. Я выбрался из поля на широкую луговину, которую мне нужно было пересечь по пути к своим. Не успел я сделать несколько шагов, как услышал треск пулемета МГ, а вокруг меня засвистели пули. Я быстро нырнул в туман и отполз в сторону, поднялся и быстро двинулся дальше. Прошло несколько секунд, и снова заскрипел МГ, и вновь засвистели пули. Я вновь нырнул в туман, полежал подольше, вновь отполз и вновь двинулся дальше. Так продолжалось несколько раз. Туманчик становился все ниже и ниже. Поднявшись в очередной раз, я увидел большой котлован, из которого литовцы выбирали торф. Подобравшись к его краю, я решил укрыться у его борта и, облокотившись на край, спустил ноги в котлован. Бортик обломился, и я с головой ушел в торфяную жижу. Ноги уткнулись в какой-то выступ, руками я судорожно держался за край котлована. Не знаю, какие силы помогли мне, но усилиями всех мышц я задержался на краю.

Мне было уже на все наплевать. Я поднялся и медленно пошел с мыслью: убьют, так убьют, я чувствовал, что если опять начну ложиться, то не будет сил, чтобы подняться. О, чудо! Пулемет больше не стрелял, не догадываюсь, по какой причине, хотя туманчик опустился буквально до щиколотки. Я сделал несколько шагов, и вдруг «ударил спасительная молния». До меня донеслась команда с нашего передового наблюдательного пункта: «Правее 0.20, дальше 100». Может быть, эти артиллеристы или минометчики накрыли моего «охотника-пулеметчика». Спотыкаясь, я побрел на звук и вскоре добрался до своих. Они не задавали мне никаких вопросов, только обмыли, перевязали

и по телефону вызвали сопровождающего. Вскоре он пришел. Я терял силы, и солдат буквально вытащил меня на себе. Сознание я не терял, но что со мной конкретно делали, помню смутно: везли на конной повозке, на машине, и окончательно я пришел в себя на операционном столе в Каунасе, где врачи извлекали осколки из моей головы, шеи и плеча. Запомнил разговор двух врачей: мужчины и женщины. Позднее я узнал, что мужчина – главный хирург госпиталя. Женщина предлагала: «Давайте отправим его в Москву самолетом», на что мужчина ответил: «Что вы! Мы его до аэродрома не доведем». Меня отвезли в палату, где на следующий день я почувствовал себя намного лучше. Прошло два-три дня, как вдруг у меня сильно заболела шея справа, и голову наклонило налево. При обходе врачи определили, что из шеи удалены не все осколки. Меня опять повезли в операционную. Осколки вырезали под местным наркозом, боли я не чувствовал. Наконец, меня оставили на столе, и врачи отошли в сторону. Я лежал некоторое время без всякого воздействия. Решив выяснить обстановку, я спросил: «Уже всё?», «Да, всё», – ответил врач. Тогда я спустил ноги со стола и собрался идти в палату. Врач закричал на меня, чтобы я немедленно лег на стол, и сказал своей помощнице: «Вы хотели его отправлять в Москву, да мы его через месяц на передовую отправим». Так почти и вышло. 25.08 я был ранен, 26.08 попал в госпиталь в Каунасе, не прошло и двух месяцев, как я был отправлен в 108-й ГОПЭП на долечивание и на обслуживание свежих тяжелораненых. 13.11 был отправлен в запасной полк, а 09.12 прибыл в 47-ю ОИПТАБР (Отдельную истребительную противотанковую артиллерийскую бригаду), в которой благополучно закончил войну с Германией, проехал на Дальний Восток и после окончания войны с Японией демобилизовался и возвратился в Москву.

Часть 2. В Восточной Пруссии.

НА РУБЕЖЕ

Это было в те дни, когда III-й Белорусский фронт вплотную подошел к немецкой границе и части и подразделения неустойчиво рвались вперед, борясь за высокую честь первыми ворваться в логово врага. Немцы ожесточенно сопротивлялись, стараясь оттянуть это событие. Ночью наше пополнение прибыло в полк. Оно состояло человек из ста крепких ребят, в основном лечившихся после ранений в госпиталях. У штаба полка нас зарегистрировали и, разбив по батальонам, повели к передовой, которая находилась километрах в семи за городом Вилкавишки. Город Вилкавишки, бывший недавно ареной жестоких боев, был совершенно разрушен. Начинало рассветать, и, так как движение днем было не целесообразно, мы расположились во фруктовом саду на берегу небольшой речушки. Стоял август, яблоки, груши и сливы, перезрелыми грудями гнили на земле и сохли на деревьях. Был великолепный солнечный день. Один из предосенних дней Прибалтики, когда небо безоблачно ясное, но легкий ветерок приносит свежесть, подавляющую духоту. Здесь уже ясно чувствовалось дыхание фронта. Неумолчно били наши тяжелые батареи и изредка долетавший немецкий снаряд, поднимал столб земли и дыма с тяжелым кряканьем. Окопавшись в обрыве над речкой, мы, наконец, при дневном свете рассмотрели друг друга. И нас охватила гордая бодрость, всегда приходящая к фронтовикам, когда они чувствуют себя в обществе испытанных, окуранных

порохом друзей: эти выстоят любое, эти умрут, но не побегут, и сердце билось веселее от предчувствия скорого боя, потому что не для пустяка же нас срочно провели сквозь ночь на тридцать километров из НЗСП.

(Этот фрагмент «На рубеже» вставлен из дневника).

В конце ноября 1944 года я был направлен в 53-й запасной артиллерийский полк. После оформления документов старшина повел меня в конюшню, подвел к гладкой красивой лошади и сказал: «Это твоя лошадь, ты должен ее кормить и чистить. Вот тебе щетка и скребница, а еду разносят дежурные по конюшне». Похлопав лошадь, по крупу он пожелал мне всего хорошего и удалился. О, великий позор! Я жил летом в деревне и ездил верхом на необъезженных лошадях. Работая в колхозе «Боровецкое», научился запрягать лошадь, но никогда ее не чистил. И тут черт попутал, я решил, что лошадь надо скрести, а скребок чистить щеткой. Особо сильно я не давил, и лошадь тихо сносила мои потуги. И тут неожиданно в конюшню вернулся старшина и увидел мои упражнения. Сначала он обалдело смотрел на меня, а потом стал кричать громовым голосом. Когда он разрядился, я объяснил ему, что я москвич, что я механик, что лошадей я никогда не чистил. Больше к лошади меня не подпускали, а вскоре я получил приказ и пешком отправился к месту назначения.

Несколько дней вдвоем с товарищем по назначению через Гарляву, Козлу-Руду, Вилкавишкис и Кибартай пешком мы добрались до Гросс-Тракенена, где размещался штаб 47-й ОИПАБ. Из бригады меня направили в 578-й истребительный противотанковый артиллерийский полк, где писарь внес меня в книгу. Чудеса, но факт, записывая мой домашний адрес, писарь воскликнул: «А у нас уже есть москвич с Каляевской». – «Кто это?» – спросил я. «Саша Итунин», – ответил писарь. Так под конец войны я приобрел товарища со своего двора. Однако встретиться нам пришлось не скоро. Я получил назначение во 2-ю батарею, а бригада стояла в обороне, все глубоко окопались и не общались друг с другом. В расположении батареи меня встретил командир, капитан Чемирис. Он учредил мне экзамен по азам артиллерийского дела. Находясь на формировке в 21-м запасном стрелковом полку, я прошел курс минометчика и помнил, как следует ориентироваться и корректировать огонь на поле боя. Мои ответы удовлетворили комбата. Он принял решение, назначить меня командиром отделения разведки и исполняющим обязанности командира взвода управления. Затем он отправил в полк старшего лейтенанта, который до моего прихода был командиром взвода управления и чем-то не удовлетворял комбата. Я приступил к исполнению обязанностей и больше этого офицера не видел.

Я расположился в его землянке вместе со старшим разведчиком Белоножкой. До войны Белоножка был шахтером на Украине. Он был высок ростом, крепко сложен и обладал феноменальной физической силой. Это особенно проявлялось при копке землянок. Обычно землянку копали вдвоем и, ввиду подмерзшего грунта, долго долбили землю, и давили лопату ногой. Белоножка всегда копал один. Он где-то подобрал лопату с железной ручкой. Мощным ударом двумя руками он врубал лопату в грунт, а затем с выкриком «Эх!» выбрасывал землю. Так или иначе, но всегда он один выкапывал котлован под землянку быстрее, чем любые двое. Наш полк был развернут фронтом на юг, он прикрывал танкоопасное направление возможной атаки немцев на основную магистраль из Литвы в Кенигсберг. Мы постоянно вели наблюдение через стереотрубу и напряженно вслушивались, пытались уловить шум от перемещения танков.

Через несколько дней после моего прибытия меня позвал к себе в землянку Чемирис и сказал: «В бригаду поступили сведения, что немцы готовят танковую атаку сегодня ночью. Местность они хорошо знают и будут атаковать внезапно, без артподготовки. Как стемнеет, возьми Белоножку, проберитесь за немецкий передний край, заберитесь в стога, которые мы с тобой высмотрели, и, когда танки пойдут вперед, зажгите стога. Тогда на фоне горящих стогов нам их будет хорошо видно, и мы их расстреляем». Куда деваться нам, он не подумал. А на мой вопрос сказал: «Вернетесь на батарею». Про себя я подумал, что возвращение сомнительно, но приказ есть приказ. Нашел Белоножку, и мы стали, пока было светло, тщательно просматривать пути к этим «злополучным стогам». Мы усмотрели низинку, по которой можно проскочить между немецкими траншеями, благо они не составляли сплошной линии. Стоя в обороне, мы просмотрели буквально каждый метр. Белоножка держался спокойно, но из разговора с ним я понял, что он, как и я, сомневается в успехе нашей миссии.

Как только основательно стемнело, мы отправились. Маскхалатов уже не было, и мы, тщательно выбирая низкие места, пробирались вперед. До стогов было метров 500, до переднего края метров 300. Удача нам сопутствовала. Мы, незамеченные, проползли через разрыв в линии траншей и добрались до стогов. Стараясь не шуметь, забрались вовнутрь. Нам казалось, что малейшее наше движение сопровождается громовым шумом. Мы договорились дежурить посменно. Первым дежурил я. Танкового шума не было слышно, но зато немцы время от времени проходили невдалеке от нас, о чем-то тихо переговариваясь. Ни у меня, ни у Белоножки не было часов. Ориентиром времени был свет. Пришло утро. На наше счастье, в эту ночь немецкие танки не пошли, а погода была сравнительно теплая. Мы сильно озябли, но не замерзли. Ночью пошел слабый мокрый снег, так что наши следы были занесены. Удача сопровождала нас по всем пунктам. Дожевав остатки хлеба, мы стали ждать ночи, чтобы вернуться на батарею. Один раз двое немцев прошли совсем рядом с нашим стогом, и мы подняли автоматы. На наше счастье, они ничего не заметили, но мы пережили весьма неприятные минуты. Больше всего мы опасались попасть к немцам живыми. Снова наступила ночь, но мы не торопились выбираться, надеясь, что к середине ночи немцы частично утратят бдительность. Немцы периодически пускали осветительные ракеты и изредка постреливали в сторону нашего переднего края короткими очередями. После того, как угасла очередная ракета, мы выбрались из стога и поползли к себе. Мы не знали пароля и отзыва на новые сутки и боялись попасть под пули своих пехотинцев, но сумели преодолеть и свой передний край незамеченными. Явившись к комбату, который не спал, мы доложили, что и как было. Он объявил нам «благодарность» и послал отдыхать. Утром он подробно расспросил нас обо всем. Мы рассказали, что прошли свою пехоту незамеченными. Он сказал, что сообщит в штаб нашего полка. Не знаю, сообщал ли он, но через трое суток немецкая разведка ночью проникла в землянки нашей пехоты и перерезала несколько спящих солдат. Прошло еще несколько дней, и 13 января мы перешли в наступление. После мощной артподготовки мы вслед за пехотой двинулись сначала на юг, а затем на запад. Тесня немцев, мы к 27 января прошли через Ангербург и Шлифельбаум. Здесь мы получили приказ и совершили стремительный марш на север. Обойдя Кенигсберг с севера и запада, ворвались в местечко Метгетен. Кенигсберг был отрезан от крепости Пиллау. В эти же дни войска 2-го Белорусского фронта под командованием Рокоссовского в ходе великоплавско-Эльбингской операции 25 января вышли к заливу Фришес-Гаффи отрезали Восточно-Прусскую группировку от остальных сил немецкой армии.

Как только мы вошли в Метгетен, Чемирис приказал мне взять двух разведчиков и расположиться на втором этаже двухэтажного дома, стоящего метрах в двухстах за спиной нашей пехоты. Задача была наблюдать за передним краем и при изменении обстановки сообщать на батарею. С разведчиком Новиковым и радистом Шаминам мы выбрали удобную комнату, развернули стереотрубу и по очереди вели наблюдение в сторону Кенигсберга. В доме еще оставалась большая немецкая семья: отец, мать и трое детей. На время нашего наблюдения я предложил им перейти в соседний дом. Немцев военных мы не опасались, так как перед нами довольно плотно располагалась своя пехота. Вдвоем с Новиковым мы стали тщательно осматривать дом и обнаружили мешок муки. В подвале неожиданно нарвались на безоружного эсэсовского унтер-офицера. Связались по радио с Чемирисом. Он приказал: «Пусть кто-нибудь из вас отведет его в штаб полка и возвращается на наблюдательный пункт». Новиков увел его, а мы с Шаминам решили испечь оладьи. Замешали муку водой, оказалось очень густо. Тогда взяли детскую ванночку и довели тесто до кондиции. Кстати, нашли сахарную пудру и соду. Развели огонь в печке угольными брикетами и стали печь. Видимо, на дымок, поднявшийся от нашей печки, с немецкой стороны прилетело несколько мин, и мы загасили огонь. Возвратился Новиков и, захлебываясь, начал рассказывать о том, что творится в Метгетене. Во-первых, на железнодорожной станции захватили несколько вагонов с ценными трофеями. Среди этих трофеев был вагон, наполненный «ромеровскими» часами, «цейсовскими» стереотрубами и артиллерийскими биноклями. Наши оставшиеся ребята приложили руки к этим трофеям. Впоследствии часы пришлось отдать по начальству, стереотрубы, кроме двух, я сдал в артснабжение как трофеи, а бинокли я припрятал, и они сослужили нам великую службу в Монголии, но об этом – в свое время.

Но главное заключалось в том, что наша авиация выполняла свои задачи по войскам немцев, а на западе англо-американская авиация накрывала города практически без разбора, и множество жирных, состоятельных немцев эвакуировалось на курорты Земландского полуострова. Тут их и накрыли наши войска...

Мне шел двадцатый год, но я еще оставался зеленым мальчишкой. В то же время у меня в подчинении были вполне зрелые и даже перезрелые мужики. Должен отметить, что не все немки испытывали ужас от встречи с нашими солдатами. Были, конечно, ужасные, драматические и трагические эпизоды, но были и вполне мирные договорные встречи, и многие наши воины быстро освоили простейшие немецкие сочетания слов, вроде: «Фрау, ком зи Гер, хинлеген». Однако, когда мы через два месяца вернулись на Земландский полуостров, кое-где попадались немецкие плакаты: наш небритый солдат в буденовке тащит на руках женщину в разорванном платье. Под картинкой подпись: «Немец, помни Метгетен».

Мы получили по радио приказ свернуть радиостанцию, оставить свой наблюдательный пост и срочно вернуться на батарею. Быстро собравшись, мы отправились. Не прошли мы и сотню шагов, как нас остановил патруль развернутой в Метгетене комендатуры. Несмотря на наши объяснения и протесты, нам предложили отправиться в комендатуру. Мы не стали сопротивляться, но я потребовал, чтобы они немедленно связались с нашим командованием. Нас привели в особняк, в котором разместилась комендатура, открыли дверь в темную комнату, запустили туда и задвинули за нами засов. Не чувствуя за собой никакой вины, мы пребывали в отличном настроении.

Тут начались «сказки Шехерезады». Ощупав и осмотрев комнату, мы обнаружили, что это своеобразная площадка, с которой идет лестница вниз, по которой мы спустились в темный подвал, оставшийся вне внимания

комендантской команды. Ощупывая в темноте предметы в подвале, я обнаружил огромный стол, заваленный посудой и различными принадлежностями. Под руки попались немецкие военные свечи в виде круглых железных коробочек, заполненных горючей массой, в центре которых был фитиль. Не зря говорилось, что немцы даже «искусственную соплю» выдумали. Эти свечи были великолепными сооружениями. Масса от них не расплывалась, до самого конца оставаясь в коробочке, «свечка» горела долго и чисто. Мы зажгли несколько свечек, огляделись и обалдели. Подвал представлял, видимо, склад – хранилище какого-то отеля. Все четыре стены, высотой более трех метров, включая стену, прорезанную лестницей, были обустроены стеллажами, полностью забитыми банками и бутылками. До самого потолка полки этих стеллажей были набиты стеклянными банками с мясными, овощными и фруктово-ягодными закусками, а один из стеллажей был заполнен бутылками. Огромный стол, стоящий в центре подвала, был буквально завален коробками со стеклянной, фарфоровой и серебряной посудой. Привыкшие на войне к немедленным действиям, мы, не теряя времени, вскрыли одну из бутылок, пару банок и приступили к опробованию. За первой бутылкой последовала вторая. Увы, «наше счастье» продолжалось недолго. Наверху загредел засов, дверь отворилась. Мы срочно задули свечи. Сверху гремел голос капитана Чемириса: «Ну, где же они, выходите немедленно, есть приказ срочно выступить!» Бросив выпавшее нам неожиданное счастье, мы поднялись вверх. Внезапный переход от темноты к свету оправдывал наше не вполне нормальное состояние. Вместе с Чемирисом мы быстро вернулись в расположение батареи, а через час уже были на марше в Зоневальде, где вместе с танками, фронтом на северо-запад включились в бой по ликвидации Восточно-Прусской группировки.

В феврале бригада вела упорные бои, поддерживая действия танкового корпуса. Пехоты почти не было, поэтому мы вели непосредственную борьбу с пехотой и артиллерией немцев при мощной поддержке авиации. Как я случайно услышал на одном совещании, где мы прикрывали несколько генералов и полковников, части сопровождения, включая артиллерию РКК (резерва главного командования), и выполняли задачи, для решения которых предназначена пехота. Тем не менее, вместе с танками мы участвовали в штурме городов Мельзак и Вормдит, и наша бригада наравне с другими соединениям получила благодарности Верховного Главнокомандующего. Эти благодарности были записаны всем участникам, чем мы все очень гордились.

Бои шли с большим ожесточением. У немцев тоже осталось мало пехоты, и они ставили на прямую наводку 88-миллиметровые зенитные орудия. Помню бой в районе Мельзака. Мы выкатывали орудия на прямую наводку и били по немцам, организующим противотанковую оборону. Танки наступали вдоль железной дороги, которая проходила внутри выемки. В стенке выемки было подготовлено укрепление, и там, по нашему мнению, укрылась немецкая самоходка «Фердинанд». Танки остановились, мы осторожно подтянули две своих 57-миллиметровки по верху выемки и открыли огонь по немцам. Орудие замолчало. Танковый командир прокричал своим связистам: «Сообщите о подбитии «Фердинанда». Вместе с танкистами мы подошли к этому «Фердинанду». Это оказалась вкопанная зенитка, вокруг которой на земле лежало несколько убитых немцев. В это время на другой стороне выемки показалась самоходка. Танкисты открыли огонь, и самоходка вспыхнула. Через несколько секунд из кустов, прикрывавших эту самоходку, выскочил наш танкист и матерным криком объяснил, что танкисты сожгли пятившуюся задним ходом тридцатьчетверку из разведки корпуса. Тем не менее, этот танк добавили к зенитке, подбитой в выемке, и «вверх» ушло сообщение об уничтожении двух «Фердинандов».

Наше наступление шло стремительно. Днем мы почти не останавливались. Помню такой «печальный» для меня эпизод. На маленьком хуторе мы подоили корову и поели трофейного печенья с парным молоком. Наша батарея всегда двигалась в следующем порядке: во главе батареи на машине первого взвода ехали в кабине водитель, Чемирис и я; в кузове на ящиках с боеприпасами размещался расчет первого орудия и мои разведчики; на второй машине в кабине был командир первого огневого взвода; далее в обычном порядке следовал второй огневой взвод, на машинах которого располагались мои связисты. Мы двигались в узкой полосе прорыва вслед за танками. Ширина полосы была не более километра, и прорывающаяся колонна была с двух сторон под огнем. Вдруг я почувствовал страшный позыв и доложил Чемирису. Он улыбнулся, но сказал, что остановиться мы не можем. Тогда я принял решение. Выскочил из кабины, вскочил на прыгающий лафет и, повернувшись задом в сторону немцев, ведущих огонь, стремительно спустил штаны и «дал залп по немецким позициям». Облегченно вздохнул, подтянул штаны и влез под гогот разведчиков и расчета в кузов, так как догнать кабину не было никакой возможности.

Другой эпизод был далеко не комичный, и после него мое уважение к Чемирису намного выросло. Наш студебеккер также шел в прорыв по коридору под огнем немцев. По машинам стреляли из крупнокалиберного пулемета, и пули со страшным треском ударяли по машинам и стоящим вдоль дороги деревьям. Одна из пуль ударила в нашу кабину с передней стороны, раздался громкий хлопок, и лобовое стекло рассыпалось. Молодой водитель распахнул дверцу и выскочил из кабины. Машина пошла вбок. В мгновение оценив обстановку, Чемирис схватился за руль и, подвинувшись влево и поймав ногами педали газа и тормоза, погнал машину вперед на максимальной скорости. Больше попаданий не было, и мы благополучно преодолели опасный участок. Когда колонна остановилась, к машине подошел перепуганный водитель, который ждал расплаты за свой поступок. Однако комвзвода Чемирис не сказал ни слова осуждения, а спокойно приказал: «Внимательно всё осмотри и приведи в порядок».

Движение к морю было стремительно. В памяти остались бои на магистрали Кенигсберг – Эльбинг, гибель радиста Шамина, а также сбор трофеев, гибель моего дорогого друга Белоножка при сборе трофеев на берегу Фришес Галф и его похороны.

Шамин был идеальным радистом и идеальным солдатом. Не было случая, чтобы рация у него была не в порядке. Ни разу за время нашей совместной службы я не слышал от него вопроса или возражения, когда отдавал приказ или распоряжение. Нужно ли было идти на передовой наблюдательный пункт вместе с нележкой в то время рацией, нужно ли было заступить в ночной пост в расположении или срочно что-то копать, он никогда не задавал вопросов и приступал к исполнению. В один из тихих дней мы перемещались по лесной дорожке к месту нового размещения батареи. Тихий лесок, скрытая дорожка, мы шли метрах в двадцати друг от друга, он – впереди, я за ним, каждый, погруженный в свои мысли. Внезапно впереди раздался хлопок взорвавшейся мины. Я бросился вперед, Шамина нигде не было. Осмотрелся и увидел на ветках окружающих деревьев моточки одежды и тела. Шамина больше не существовало, и хоронить было нечего. Видимо, мина взорвалась прямо под ним. Я побродил кругом, но не нашел никаких остатков тела. Шамин, с которым я служил на батарее с декабря 1944 года, ушел в небытие.

Продолжая наступление, мы вышли к заливу на выступе, расположенном напротив Пиллау, и разместились в ожидании дальнейших приказов. Неожиданно Чемирис собрал всех офицеров и сообщил, что командир полка распорядился выйти на берег за трофеями. Немцы бежали так стремительно,

что на берегу валялись груды оружия, различного имущества, стояли автомобили, некоторые с работавшими двигателями. Комбат сказал, пусть идут желающие, чтобы пригнать хотя бы один автомобиль для хозяйственных перевозок. Вызвались идти два шофера, помпотех, а возглавил «трофейную команду» Белоножко. Он был в превосходном настроении, и ребята отправились к берегу. Несколько часов они отсутствовали. Мы уже начали волноваться. Они явились втроем, Белоножко не было. На вопрос, где он, помпотех ответил: «Убит». Меня охватил бешеный гнев, я с яростью набросился на помпотеха с криком: «Как же вы его бросили!». Чемирис остановил мою ярость и приказал: «Все трое, кто ходил за трофеями, возвращаются; руководителем группы пойдет Тарский, без Белоножко не возвращайтесь». Мы сравнительно быстро вышли на широкую ровную береговую полосу, которая была рассечена несколькими рядами немецких траншей. Здесь они держали последнюю оборону перед бегством через залив. Время от времени со сравнительно большими перерывами со стороны Пиллау по «нашему» берегу били крупнокалиберные орудия береговой обороны. Снаряды неслись со страшным грохотом, а взрывы соответствовали взрывам крупных авиационных бомб... Я, во всяком случае, артиллерийских взрывов такой силы не видел ни разу. Я понял паническое нежелание наших технарей, сравнительно мало обстрелянных, идти на это поле, но, понукаемые мною, они пошли. Белоножко лежал на спине, раскинув руки и ноги. В середине лба зиял пролом, величиною с кулак. По-видимому, его задел отдельный крупный осколок. Мы быстро сориентировались. Поймали одинокую лошадь, запрягли минометную повозку и положили на нее Белоножко, укрыв до груди куском брезента. Кто-то уже стянул с него сапоги, в остальном он был в полном порядке. Метрах в ста стоял немецкий пикап. Я послал к нему шофера. Мотор не работал, но ключ не был вынут. Машина завелась, и я велел гнать ее на батарею. Эта машина на платформе доехала до Дарасуна, и, после приказа двигаться своим ходом в Монголию, была обменена в «Золотопродснабе» на спирт. Окружив траурную повозку, мы втроем двинулись в обратный путь.

Все больше войск, сражавшихся фронтом на север, выходило к заливу. Нас встречали и провожали сотни людей. Они стояли по сторонам дороги, снимали головные уборы и как бы отдавали последний долг бойцу, погибшему на последнем этапе победного наступления. Когда мы вернулись на батарею, новый радист, заменивший Шамина, оказавшийся столяром, уже достругивал гроб и изготавливал столбик со звездой наверху. С улыбкой он рассуждал: «Вон, какой я гроб отличный соорудил, а меня, небось, кое-какземлей закидают». Накаркал ли он на себя или такова была его судьба, но именно так и произошло вскоре при ликвидации группировки на Земландском полуострове.

Итак, 29 марта Восточно-Прусская группировка была ликвидирована. Мы совершили очередной марш и расположились к западу от Кенигсберга. В штурме Кенигсберга мы участвовали в артиллерийском сокрушении немецкого переднего края стрельбой прямой наводкой. Батарея располагалась за 200-300 метров от немцев, непосредственно в боевых порядках пехоты. Однако передний край немцев из-за складок местности почти не просматривался. Чемирис вызвал меня, указал на небольшую высотку метрах в ста от немецкой линии и сказал: «Возьми ракеты, незаметно залезай на высотку и, когда начнется артподготовка, ракетами указывай цели!». Я скрытно забрался на высотку и, когда загремела артподготовка, начал пускать ракеты в места, где скапливались немцы. С высотки их было хорошо видно. Немцы дали в мою сторону пару очередей, а потом им стало не до меня. На каждые 10 метров фронта против них стреляло наше орудие. Прошло минут 15-20, и они побежали. Я быстро вернулся на батарею и доложил Чемирису, он связался с пехотой, и она пошла вперед. Наши расчеты покатали пушки вместе

с пехотой вперед. Чемирис поблагодарил меня, а по прибытии в Монголию мне вручили орден «Красной Звезды», к которому меня представил комбат за этот короткий бой.

9 апреля Кенигсберг пал, но в город мы не попали. За штурм Кенигсберга наша бригада получила орден «Александра Невского». После непродолжительного стояния в Виккау нас, в обход Кенигсберга, перебросили на Земландский полуостров, где мы уже побывали в сентябре. Здесь нас опять придали танковому корпусу, и 13 апреля мы снова пошли вперед. По данным разведки у немцев в районе Пиллау была танковая дивизия и более ста танков. Продвижение было быстрое. Орудия ехали за рвущимися вперед танками, и батареи не успевали развернуться, чтобы открывать огонь по немцам. Чемирис приказал мне и радисту разместиться на броне командира танкового полка вместе с десантом, чтобы сообщать при необходимости развертывания батареи. Танки рвались вперед, немцы вели артиллерийский огонь. Один снаряд разорвался недалеко от танка, и мой радист свалился с танка. На первой остановке я сказал об этом танкистам и пошел назад, найти своего радиста. Вскоре я нашел его мертвого. Да, он действительно накаркал себе смерть и похороны, когда делал гроб Белоножке. Я вернулся к танкистам. Они передали, что мне приказано вернуться на батарею. Танкисты помогли мне захоронить радиста. На доске я написал его фамилию, имя, должность и часть. Затем подобрал поврежденную радиостанцию и вернулся к себе. Я надеялся, что Чемирис прикажет перезахоронить радиста как следует, но он сам получил приказ о срочном перемещении. Документы мы сдали в полк. Родители, конечно, получают похоронку с указанием места гибели их сына, но найдут это место вряд ли.

(Текст курсивом, идущий далее, вставлен из дневников Тарского.)

Наконец, мы вырвались к Фриш-Хаф, разрезав Прусскую группировку на две части, и яростно прижимали фрицев к берегу. Они спешно эвакуировались через залив с последнего оставшегося в их руках мыса... Два полка нашей бригады отошли на отдых. «Тогда считать мы стали раны, товарищей считать...». Мой взвод в последнем наступлении не имел ни убитых, ни раненых, и, чувствуя скорый конец войны, мы стали располагаться под весенним солнцем. Было много веселого и интересного, но сейчас разговор не о том.

Машин подбито было множество; в нашей батарее осталось лишь три, а бронетранспортер, захваченный при прорыве, у нас увели танкисты. Вот какая была обстановка, когда командир полка приказал выделить помпотехов и разведчиков, чтобы вернуться на нейтралку и вывести из-под огня впопыхах брошенные немцами машины. Наш помпотех раньше был в полковых мастерских и там, очевидно, обленился. Он и раньше, видимо, не отличался особенным рвением и храбростью, его мы уже наблюдали неоднократно. Он пошел от нашей батареи старшим, от нас взяли разведчика Белоножку. Белоножка был мой любимец. Он был донецкий шахтер, с первых же дней попавший на фронт. В самом начале войны он попал под бомбежку и получил слепое ранение в правую руку, которое сломало ее и вырвало большой кусок мяса, но рана зажила великолепно и, несмотря на сквозное ранение груди, полученное позднее, природное здоровье одержало верх, и он по-прежнему обладал огромной силой с выносливостью.

Он выкапывал землянку быстрее, чем три крепких бойца и свободно таскал бревно, под которым трещали двое. Мы несколько раз ходили вдвоем слухачами, и кто сидел слухачом на нейтралке знает, какое это удовольствие

и как можно подружиться на этом деле. У него было открытое, слегка скуластое лицо, и был он исключительно честен до мелочности, и разведчик он был хоть куда. Он радостно сбегал за мешочками «для трофеев» и с шутками и смехом все ушли.

Бой шел не очень ожесточенный. Звенели «зисы», рядом с нами доносилось постукивание крупнокалиберных пулеметов, изредка через залив шлепали тяжелые снаряды фрицев из Пиллау. Действовала в основном наша авиация, заход за заходом громившая немцев на последнем шоссе на переправе на косе. Мы были спокойны за исход. Занятий не было, и мы потихоньку улучшали, свое жилье, которое после того как нас выставил штаб армии из отеля, помещалось в оранжерее. Так шли часы. Мы пообедали и растянулись на солнце под стеной нашего храма, укрывшись от ветра. Но вскоре мне пришлось руководить завалом дороги, которая раскисла до невероятности, и еловые ветки, матрасы, автомобильные колеса – все полетело в грязь. В это время по дороге показалась команда другой батареи, помпотех шел с обвязанной головой, разведчика вели под руки, всего забрызганного кровью. У меня что-то оборвалось в сердце. «Где наши?», – «Вашего Белоножку убило, а помпотех удрал». У меня вдруг все закипело внутри. Я был полон такой яростью, что готов был застрелить помпотеха безо всяких вопросов. Вскоре собрались все. Что было ожидать от этой команды помпотехов.... Попав под огонь, они все разбежались, спасая свою шкуру... Они даже не попытались взять Белоножку, бросив его там, где он упал... Помпотех боялся посмотреть на нас, и заискивающе улыбаясь, оправдывался перед комбатом. Но я сразу потребовал его в проводники и, взяв радиста Шамина и Завальницкого, отправился подобрать Белоножку.

Мы шли обычной дорогой ближнего тыла. Рядом таякали орудия и звенели минометы. Ответный огонь не доставал, и бойцы, перешучиваясь и покуривая от команды до команды, вели огонь. По сторонам дороги был наворочен железно-трофейный хлам: разбитые автомобили, бронетранспортеры, орудия. Мы проходили, наконец, через лес, непосредственно примыкавший к передовой. В это время знакомый подвизгивающий свист предупредил нас о летящих минах. «Мой помпотех» стал, что называется юлить: вот, дескать, братцы, так было и тогда, когда убило Белоножку, но наш холодный и решительный вид заставил его подняться и повести нас дальше. Прошли мимо обгоревшего и подвешенного на дерево трупа. Кое-где уцелела полувоенная одежда. Не то наш разведчик, случайно попавший к фрицам, хотя у них сейчас, пожалуй, на это не было времени, а вернее, какой-нибудь власовец. Стали долетать пули крупнокалиберного пулемета. Наконец, мы вышли на опушку, за которой метрах в двухстах начиналась совершенно побитая и ободранная рощица, где были заметны разбитые машины и вспухшие трупы лошадей. «Там, – сказал помпотех, – «но я не помню, где точно». – «Сейчас вспомнишь», – сказал я таким голосом, что трое невольно вздрогнули.

В это время повозка с ранеными пересекла опушку из рощи и спустя полминуты мины зашлепали по дороге. Я понял, что опушка просматривается немцами, а эти бараны, наверное, высыпали кучей, (неразб.) Разглядев окоп на противоположной опушке, я приказал, пригнувшись бежать туда. Только мы впрыгнули в окоп, как десяток-полтора мин обрушились на дорогу и рощицы...

... Белоножка лежал возле окопа. Осколок величиной с кулак проломил его высокий лоб, но, видимо, будучи на излете, застрял в голове. С него уже стянули хромовые сапоги, видимо, кто-то переобулся по дороге на передовую. Все до единого карманы были вывернуты, часы и документы исчезли. Эти сволочи не взяли даже документы.

Я расвирепел и хлопнул помпотеху такую пощечину, что рука у меня загорелась. Он принял это как должное, да и что он мог сделать. Он ждал еще, но некогда было сводить счета. Положив Белоножку на плащпалатку и взяв ее за четыре угла, мы, как можно быстрее, побежали через опушку. Он был тяжел. Все мертвые тяжелы, но он был очень большой. Немцы не стреляли. Немного отнеся его, мы приспособили немецкую минометную тележку и покатали его в последний путь перед войсками, снимавшими пилотки.

Он утром был похоронен в гробу со всеми воинскими почестями. Интересно заметить, что телефонист, сделавший ему гроб, сказал: «А меня-то, наверное, не закопают, как следует». И действительно, он был тяжело ранен в живот и неделю провалялся после смерти в Земланде, возле Виккау, пока, наконец, не был впопыхах похоронен.

После взятия Фишхаузена мы расположились на берегу Фришес-Хаффа, в поселочке из нескольких отелей. В боях мы больше не участвовали, а часть танкистов пошла добывать немцев в Пиллау. 25-го апреля Пиллау пал, 26-го сдались остатки немецких войск на косе Фриш-Нерунг. Земландская группировка, последняя опора немцев в Восточной Пруссии, перестала существовать. Увы, наша спокойная жизнь неожиданно прервалась. Откуда-то сверху пришел приказ о проведении учебных занятий во всех подразделениях; занятия должны были проводиться целый день с перерывами на обед. Делать нечего, я составил расписание занятий для взвода управления и утвердил у комбата. В расписании было всё, включая учебные стрельбы, не было только строевых занятий, хотя некоторые наши солдаты, да и сержанты, отлично действующие в бою, по команде «кругом», поворачивались через левое плечо.

Утром после завтрака мы отправились на боевые стрельбы. Мишеней не было, зато были горы брошенных немцами унитарных патронов. Уложив патроны снарядами к морю, мы метров с пятидесяти стали стрелять из немецких винтовок, стараясь попасть в торцевую часть гильзы. При удачном попадании патрон производил выстрел под общий восторг. Постреляв час-полтора, отправились в ближайший лесок, где я распорядился «всем отдыхать». Необходимо отметить, что Чемирис, видимо, просмотрел или, повинувшись чувству юмора, пропустил для смеха внесенные мною в расписание занятия на тему: сон и его боевое охранение. По моей команде большинство взвода всерьез занималось «сном», размундировавшись самым категорическим образом. Моей роковой ошибкой было, что я не выставил положенного «боевого охранения». А было это 8-го мая. А начальство не дремало. Не успели ребята повесить портянки на просушку и под весенним солнышком погреть спины без гимнастерок, как на нашей полянке внезапно появились Чемирис, зам. командира полка и еще незнакомый подполковник. Я был одет по полной форме, мгновенно вскочил и взглянул на часы. Ура! Уже пять минут по расписанию шел перерыв. Я направился навстречу начальству. Подполковник резко остановил меня: «Почему не подаете команду "Смирно"». Я бодро доложил: «Взвод управления находится на перерыве в соответствии с расписанием занятий». Еще из учебной команды я помнил, что во время учебного перерыва команда «Смирно!» не подается. Все три начальника мгновенно взглянули на часы, на контрольную бумажку с расписанием занятий, переглянулись и ушли. Мне показалось, что Чемирис потихоньку улыбается. Однако мне было не до смеха. Когда мы вернулись в полк, мне передали мелкий подарок от зам. командира полка – трое суток домашнего ареста. Меня «изолировали» в роскошной комнате одного из особняков в расположении нашей батареи. Ребята принесли пару бутылок трофейного вина, закуску и, посмеявшись, оставили одного до утра. Стемнело. Я выпил стаканчик вина, закусил, собрался ложиться спать со спокойной душой, не чувствуя никакой

вины за «содеянное». Внезапно за окном началась орудийная пальба. Я выглянул на улицу. Стоящие недалеко от нас СУ-152 и тридцатьчетверки стреляли боевыми снарядами в сторону моря. Все больше и больше взлетало вверх ракет и трассирующих пуль. Не успел я осмыслить происходящее, как ко мне буквально вбежал Чемирис, обнял меня и закричал: «Победа, беги, отпирай свой ящик с ракетами». В то время, точно не помню, но в наших войсках было пять или шесть видов ракет: красная, зеленая, белая, желтая, синяя и, кажется, это все. У немцев же были целые наборы сигнальных ракет, в том числе ракеты, меняющие цвет во время полета. У меня на хозмашине стоял запертый железный ящик с этим богатством. В прошлом они были не нужны, но в такой день... Я вообще не любил возиться с ракетами после того, как однажды чуть не всадил ракету в голову командира пехотного полка, который мы поддерживали огнем. Но восьмого мая была моя ночь! Я щедро раздал все ракеты любимым и нелюбимым и мы приняли активное участие в светозвуковой какофонии по поводу победы.

Время шло, весь май, и начало июня мы простояли на берегу. Наученный горьким опытом, я аккуратно имитировал занятия и не позволял сушить портянки в учебные часы, да и на занятия ходили в более потаенные места. 25 мая объявили приказ по бригаде о награждении меня орденом «Красной Звезды». Самого меня в свободное время охватывала тоска по дому и, главное, желание поскорее встретиться с мамой. Эти чувства потянули меня на «поэзию». Среди записок восточно-пруссских послевоенных времен сохранились стихи, отражающие настроения молодого сержанта весной и в начале лета.

Замерло небо прусское
И на земле тишина,
Знамя колыхается русское,
Его освещает луна.
Неторопливо, уверенно
Землю топчет патруль,
Победа одержана полная,
Нет ни осколков, ни пуль.
Не сразу ему поверится
Что великая смолкла война,
Что его бойца – победителя,
Скоро встретит война.
Тихо, тихо над облаком
Белый месяц плывет,
А его под дубом иль липою
Встреча с любимой ждет.

Время и место написания точно установлены: Виккау, 17.05.45. 0.= 30 мин.

Видимо, написано оно во время ночного дежурства. Время шло, а перспектива дальнейшей жизни не прояснялась, содержание стихов становится более возбужденным и нетерпеливым.

Кончились битвы и гром!

Сердце стремится домой.
 К той, что обнимет меня:
 Скажет, любимый ты мой!
 Дышит свободой грудь,
 Ведь на дворе весна,
 Но дальний до дома путь,
 До дома, где ждет она.
 Ветер несет на восток
 Над Пруссией облака,
 Передай же ветер привет
 Той, о которой тоска.
 Передай ей, придет тот час,
 Я обниму тебя,
 А сейчас
 Я лишь мечтаю любя.

05.45.

Время шло, мы караулили обезлюдившую прусскую землю, а в жизни нашей ничего не менялось. Менялось настроение:

Хмурая погода,
 Дождик моросит,
 Облако над лугом,
 Как колпак, висит.
 Дальний и желанный,
 Где-то паровоз
 Свой гудок призывный
 До меня донес!
 Мысль туда взметнулась,
 Где людской прибой.
 Пруссия проклятая,
 Когда прощусь с тобой?

14.06.45 .

Часть 3. Движение на восток

Наконец дождалось, в конце июня пришел приказ перебазироваться в Кенигсберг. 24 и 25 июня мы размещались на территории пивоваренного завода «BRFUER PONART». От нечего делать разрыли архив «Всегерманских пивных соревнований» и были потрясены достижениями рекорсменов, выпивавших ведра пива. Прошел строевой смотр, 27 июня мы получили приказ на погрузку, и наш эшелон № 27015 отправился «на место постоянного базирования».

Следует отметить, что командование провело с нами обстоятельную работу в целях сохранения военной тайны. Во-первых, нам детально и долго объясняли, что страна разорена войной, поэтому все имеющееся у нас

трофейное имущество, включая автомашины, лошадей, стройматериалы, необходимо забрать с собой, так как все это пригодится на месте. Место же нашего предполагаемого размещения было великой тайной, и никто ничего не знал... Во-вторых, при всей нашей опытности и бывалости нас элементарно купили по поводу нашей переписки. Прибывший подполковник, политработник, сделал нам небольшой доклад, сущность которого сводилась к следующему: «Вы привыкли, что полевая почта хорошо работает и ваши родные, да и вы сами аккуратно получаете письма. В то же время обычная почта за время войны сильно расстроена и работает плохо. Чтобы не было недоразумений и потерь во время дороги, не бросайте письма на вокзалах и в населенных пунктах, и всё будет хорошо».

Как я теперь понимаю, цель у командования была исключить растекание информации о нашем перемещении на Дальний Восток. И мы, казалось, такие опытные и умудренные, поверили, и все письма сдавали в полевую почту. А наши родные, которые уже получили от нас поздравления с победой и свидетельства, что мы остались живы, оказались отрезанными от информации. Это продолжалось до осени, так как правда, как только началась война с Японией, град наших писем с устаревшими новостями, обрушился на родных и знакомых.

Наш эшелон гремел по родной земле. Двадцать седьмого проскочили Смоленск и Рославль, двадцать восьмого – Брянск, двадцать девятого – Грязи, тридцатого – Тамбов. «Место нашего постоянного расположения» отодвигалось все дальше на восток. Второго июля в Саратове мы переправились через Волгу, а четвертого прибыли в Актюбинск и по Казахстану покатали на юг. Не доезжая до Ташкента, от Арыси повернули на Турксиб, восьмого проскочили Чимкент и Джамбул и девятого от Алма-Аты повернули на север. Три дня мы тянулись к сибирской магистрали и, когда эшелон, наконец, вклинился на нее в Новосибирске, со всех сторон зажатый танковыми, артиллерийскими и пехотными частями, «следовавшими к местам постоянного размещения», все загадки были окончательно сняты – мы ехали на Дальний Восток добывать Японию. Пятнадцатого проскочили Красноярск, восемнадцатого – Иркутск. Спрямяющая дорога от Иркутска к Байкалу тогда еще только строилась, и мы проследовали по западному берегу Байкала через череду туннелей и насыпей. Двадцатого проскочили Улан-Уде, двадцать третьего – Читу и, наконец, двадцать четвертого остановились на разгрузку на станции Дарасун.

(В дневнике календарь за июнь, июль – с подробным расписанием движения эшелона, затем события августа – октября с рисунком карты монгольского театра действий.)

Ровно месяц мы стучали колесами по дорогам Родины. Как же складывался этот месяц для нас, невольных путешественников? Первоначально до Волги мы передвигались довольно быстро, изредка обгоняя или пропуская вперед эшелоны с войсками. По Казахстану скорость движения эшелона увеличилась, и других эшелонов с войсками мы почти не встречали. Видимо, решение о пропуске эшелонов через Казахстан было принято в процессе переброски с Запада на Дальний Восток и в Забайкалье 136 тысяч железнодорожных вагонов с войсками и грузами. По данным «Историко-мемуарного очерка о разгроме империалистической Японии в 1945 году» под редакцией маршала Советского Союза М.В. Захарова в июне и в июле на железную дорогу восточнее Байкала прибывало с запада ежедневно от 22 до 30 поездов. Временами эшелоны двигались на дистанции видимости. На каждой станции до самой Волги нас приветствовали группы людей, главным образом, женщины и пожилые люди. На наши платформы бросали всякую всячину. Особенно запомнилась морковка, ее бросали особенно часто. Мы, не уставая, махали встречающим и отвечали на приветственные лозунги. Эти

теплые радостные встречи исстрадавшихся жителей деревень и городов каждодневно поддерживали в нас веру, что мы действительно победители, возвращающиеся домой.

Радостное, праздничное настроение не покидало нас всю дорогу. Мы постоянно чувствовали себя частью народа, победившего в войне. На одной из казахстанских станций мы довольно долго стояли. Рядом с путями был шумный восточный базар. Прогуливаясь по базару с Владимиром Коровичевым, мы увидели пожилого казаха, продававшего ишака. Трудно объяснить, что нас подтолкнуло, но, к великой радости этого человека, мы приобрели у него ишака, подняли его на платформу и пристроили между пушками. Эшелон тронулся, и пришло время раздумья – что делать с покупкой. Вскоре эшелон остановился на другой станции, и опять возле станции шумел восточный базар. Недалеко от платформы стоял старичок в потертом старом халате и изношенной чалме. Решение пришло мгновенно. Я крикнул с платформы: «Бабай, иди сюда! Красная Армия дарит тебе ишака». Под общий солдатский смех мы спустили ишака с платформы и подтолкнули к старику. Слезы радости реками хлынули из его глаз, он принялся на казахском языке благодарить Аллаха и нас за подарок. Много лет прошло, я сам стал седым бабаем, но уверен, что ни один из многочисленных сделанных мною за длинную жизнь подарков не был таким ценным и желанным.

Как-то между Новосибирском и Красноярском мы стояли, зажатые другими воинскими эшелонами в ожидании движения. Могучий высокий казах, старшина нашей батареи Ибахаджаев, что-то рассказывал про местные обычаи и привычки. Вдруг из-под вагона выскочил мальчишка лет семи-восьми, начал приплясывать, дрыгая ногами и, покрикивая «тра-та-та, та-та, тра-та-та-та», внезапно выкрикнул: «Товарищ старшина, дай пять рублей!» Ибахаджаев, как заколдованный, достал бумажник, отсчитал пять рублей и отдал мальчишке, который мгновенно нырнул под вагон и исчез. Шутки по поводу этого эпизода нам хватило до самой станции Дарасун, где нас столкнули с железных колес на забайкальскую землю.

На станции Слюдянка мы долго стояли без движения, и на станции нам сказали, что все пути забиты эшелонами, и мы стоим несколько часов. Позвав пару товарищей, я повел их к Байкалу. Следует отметить, что в любом месте, в любое время года я не могу пройти мимо открытого водного пространства, чтобы не окунуться в него. Итак, добежав до Байкала, я разделся и устремился в воду. Она оказалась гораздо холоднее, чем я ожидал, но, ради престижа проплыв с десятков метров, я выскочил обратно на берег. Ребята от купания отказались, и мы отправились обратно к эшелону. Тут выяснилось, что дует довольно холодный ветер, который я до купания не заметил. Вскоре эшелон тронулся в путь, и тут я все больше и больше начал ощущать последствия «великолепного байкальского купания». На каждом стыке рельсов, когда колеса выстукивали тук-тук, мне как будто кто-то ударял кувалдой по спине. Боль была сильнее, чем при самых тяжелых моих ранениях. На первой остановке ребята взяли меня под руки и повели на полковой медпункт, передвижка которого стояла вагонов через 10-15 от нашей батареи. Мы прошли метров двадцать и напоролась прямо на командира полка. «А, с утра нализался!» – закричал он. Я несвязно пролепетал, что меня прострелило, он велел идти в медпункт и пообещал разобраться позже. Мы дошли до медпункта. Фельдшер был на месте. Он задрал мне гимнастерку и поставил банки. О чудо! Буквально каждую секунду я чувствовал, как боль убегает от меня. Вскоре я стал нормальным человеком и на следующей остановке вернулся к себе на батарею.

Думаю теперь, что командир полка знал место назначения нашего эшелона, а Чемирис точно не знал, и высокое начальство его

не информировало. Но Чемирис не был бы Чемирисом, если бы не предпринял усилий узнать это. На станции Танхой я вступил в исполнение обязанностей начальника караула охраны эшелона. Караул размещался в последнем вагоне. Вагон был своеобразным. На торцевой стенке его были две платформы, одна внизу, вторая сверху вагона, соединенные лестницей. На этих площадках размещался кондуктор. Роль кондукторов выполняли девушки 20-25 лет. Чемирис дал мне приказ: «Ты законно находишься в последнем вагоне, занимай позицию у кондукторши. Умри, но узнай место назначения эшелона». Я отправился выполнять «боевую задачу». Тут же к ней прибавилась третья – кондукторша оказалась очаровательной молодой девушкой – сибирячкой. Я немедленно и неумело приступил к ухаживаниям. Однако вскоре они перешли в спокойную дружескую беседу, и попытки проникнуть в кондукторскую сумку все отдалялись. Пришло время обеда, мне принесли вкусно пахнущий котелок – полевая кухня в эшелоне работала исправно. Я попросил, чтобы ребята принесли второй котелок. Ребята были сообразительные, кроме еды принесли стакан водки. Мы распили водку, пообедали, и разговор перешел в другое русло. Оказалось, что предыдущий эшелон, который она сопровождала, тоже принадлежал нашей бригаде. Она знала, что назначение всех эшелонов нашей бригады станция Дарасун. Дарасун был за Читой, до него было далеко.

Двадцать четвертого июля мы прибыли на станцию Дарасун. Эшелон поставили на запасной путь. Началась разгрузка. На станции были приспособления, позволяющие спускать на землю машины и пушки. Пока шла разгрузка, по всем частям бригады прошло разъяснение, что дальнейшее перемещение в Монголию будет осуществляться своим ходом. Был объявлен пункт назначения город Баян-Тумен (Чойбалсан), расстояние до него около 400 км. В связи с этим должно быть реализовано все трофейное имущество, которое мы не сможем провезти на своем транспорте.

Мерно постукивая на стыках, эшелон вытянулся вдоль воинской площадки. Вокруг поселок среди невысоких гор. Вдали леса. Вблизи пыль. Даже травка как будто специально посыпана слоем пыли. Лишь речка Ингода, синеющая и слегка пенящаяся, оживляет местность. Над нею висит легкий мостик, радующий взгляд. Звенят буфера. Команды, крики. Мы приехали. Загремели топоры, отбивающие крепежные клинья у пушек и машин. Пошла разгрузка. Разгрузочная площадка склепана из толстых бревен. Видно, площадка не была рассчитана на быструю разгрузку больших эшелонов, она коротка. Для разгрузки платформы подталкиваются поочередно. Началась возня возле пушек, которые одна на другую втиснуты, на платформы. Штабелями растут снарядные ящики. Наступает вечер. Из командования никого нет. Уныло дремлют выставленные караулы. Отправились с Ефимычем и Коровичевым побродить по окрестностям. Утром начинается торговля с «Золотопродснабом». Должны быть проданы наши великолепные фрицевские кони, которых дальше везти невозможно. Конюх то приходит, то уходит. За ним носят термосы со спиртом. Наконец-то сторговались. Одна лошадь – один термос питьевого спирта. Это была первая успешная операция: обмен семи немецких великолепных жеребцов на семь бидонов питьевого спирта. Трофейный пикап тоже был обменян на питьевой спирт. Наконец долгожданная команда «Марш!» Полк движется побатарейно. Проезжая курорт Дарасун, подобрали молоденькую девчонку. Симпатичная, неплохо тренькает на пианино, установленном в штабной машине, славно играет на аккордеоне, да еще и поет. В Акше блондиночку ссадили. Шоссе отличное, через 20-30 км станции обслуживания, которые в мирное время действовали. На станциях уютные домики, есть бани. Сейчас они пусты, мы отдыхаем, лежа вповалку на полу. Сопки очень крутые, под откосами следы неосторожных водителей. Вся дорога в превосходном состоянии. Долго стояли на берегу Онона, ждали,

пока все подтянутся перед пересечением границы. Стояли в деревне, которая представляла длинный ряд почерневших и утративших половину крыш и окон домиков. В центре деревни расположен клуб, мало отличный от остальных строений. С Ефимычем и артмастером Федосеичем вызвались патрулировать. Клуб явился местом «встреч». Утром должны двигаться дальше, а в расположении не более 5 процентов личного состава. Полковник Крыловецкий, представитель бригады, отправился на ловлю офицеров. Комбриг на своей машине проехал к границе. А мы, для смеха, сообщали всем встречным, что комбриг направился в клуб, где будет проводить офицерское собрание. Все, как испуганные воробьи, разлетелись по подразделениям

Колонна полка двинулась по южной части Читинской области, по прекрасной, по тем временам, асфальтовой дороге в сторону Монголии. Через четыре дня после разгрузки, проследовав через Дарасун, Дульдургу и Акшу, мы остановились на берегу реки Онон у монгольской границы. Целые сутки стояли мы на границе. Последовало указание, что через границу будут пропущены только военнослужащие в соответствии со списками частей и подразделений. Это был жестокий удар по женщинам, которые стали «женами» некоторых наших офицеров. На границе нас проверяли только советские пограничники, монгольских мы не видели. Потрясающее впечатление произвела на всех река Онон. Чистота воды была невероятная. На дне копошились раки, казалось, опусти в воду руку и хватай. Но до них было несколько метров, так до них никто и не дотянулся.

Мы пересекли границу, и, как по мановению волшебной палочки, изменился ландшафт. Потянулись голые безлесные сопки и равнины, заросшие низкорослой травой.

За все перемещение от Дарасуна до Чойбалсана полк потерял один студебеккер, когда водитель не сумел осуществить поворот вниз спуска. В Чойбалсан въехали днем. Отдельные невысокие кирпичные дома среди скопления юрт. Песчано-каменные, немощеные улицы. Много собак, мало жителей. Проскочив через город, мы остановились в нескольких километрах к югу от него. В месте нашего расположения находился «подземный город», построенный частями, которые в тридцатые годы противостояли здесь японским амбициям в соответствии с советско-монгольским договором. Этот город, о котором, к сожалению, я ничего нигде написанного не видел, был многоэтажным сооружением с переходами, комнатами, залами. Все вертикальные и горизонтальные помещения были облицованы досками или бревнами и в 1945 году выглядели совершенно новыми, недавно построенными. Мы размещались не в этом чудо-городе, а развернули обычные армейские палатки, по палатке на взвод. В первые дни наше питание было определено в следующем объеме: один баран и мешок свежей капусты на взвод. Позднее мы были введены в график нормального питания.

В соответствии с боевым составом войск Забайкальского фронта на 9 августа 1945 г (начало войны с Японией) наша 47-я ОИПТАБ являлась соединением фронтового подчинения. Забайкальский фронт, на который возлагалась основная задача разгрома Квантунской армии, с севера на юг развернулся следующим образом. Вдоль реки Аргунь до КВЖД располагалась 36 армия. Далее, вдоль границы до озера Буир Нур, 53-я армия. В районе намечавшегося главного удара, западнее и юго-западнее Томцак-Булака, где размещался штаб Забайкальского фронта, были развернуты 39-я и 6-я танковые армии и, наконец, в направлении на юг изготовились 17-я армия и Советско-монгольская конно-механизированная группа. Так как наша ОИПТАБ была во фронтовом подчинении, т.е. фактически в резерве фронта, а командование, видимо, считало, что сил для первого удара подготовлено

вполне достаточно, к началу военных действий мы все еще находились в г. Чойбалсан, т.е. за спиной штаба фронта.

Солдат отдыхать не должен, поэтому нас отправили на рытье котлованов для размещения боеприпасов и погрузку боеприпасов в эти котлованы. Была страшная жара, поэтому наш рабочий день был разбит на две части. Утром с 6 до 10 и вечером с 6 до 10. Работы в период дневной жары, с 10 до 18, не проводились. В связи с уходом воинских соединений к границе запрет на продажу питьевого спирта был отменен. В поле нашего зрения, километрах в полтора от нашего расположения, был ларек «Совмонголторга», где этот спирт продавался. Было два препятствия: отсутствие тугриков и расположение подразделений резерва 6 ТА сбоку от дороги к ларьку.

Среди случайных дневниковых записей времен войны завалылась страничка «Чойбалсанского стояния»: «Солнце бросает огненные лучи на песок, выжигая остатки травы. Керулен несет свое мутное содержимое в голых берегах. С высоты город, как на ладони. Отдельные юрты и дома так разбросаны, что можно просматривать любое движение сквозь него. Возле городской радиостанции дремлет цирик (монгольский солдат). В ларечке «Совмонголторга», очевидно, началась продажа спирта, там заметно оживление. Поворачиваю стереотрубу. По шоссе проходит колонна новеньких «фордов». Бетонный мост в полосе миража; он и стоящие возле него дома как бы плывут по огромному озеру, на берегах которого растет густой лес. И вот автоколонна тоже поднимается над землей и движется на фоне далекой сопки. Жар становится труднопереносимым, а до 10 часов нельзя укрыться в тени палаток. Но на то и солдат, чтобы выдумывать облегчающие жизнь фокусы. Одного разведчика отсылаю отнести трубу под предлогом смены темы занятия, другого к помпотеху на занятия резервных шоферов, третьего к комбату (он по совместительству его адъютант), четвертого в штаб, взять у писаря какие-то сведения.... Забираю последнего и отправляюсь в ближайшую юрту менять «трофеи» на тугрики. «Трофеев» остается все меньше. Давно продана по цене один бинокль – одна лошадь метгетенская добыча. Уплыли тряпки. С сожалением расстался с добытым в бою эсэсовским кинжалом «Alles fur Deutschland». Юрты монгольские плывут по степи, как лодочки по широкому морю. В городе они выполняют дополнительную роль – постоянных дворов для приезжающих родных и знакомых. Вокруг юрт обязательные кости и кучи кизяка».

В зоне спецпереселения

Часть 1

Не считаю, что моя жизнь отличалась большим разнообразием событий и обстоятельств. В то же время, должен отметить, что периодически в нее врываются события, переворачивавшие и будоражившие ее однообразное течение. К таким событиям отношу свою работу в двух МТС Таджикистана в 1954-1957 годах.

Первая половина этого периода пришлось на вторую Октябрьскую МТС, расположенную в Вахшской долине, на юге республики, другая на Дагана – Киикскую МТС, которая обслуживала район, в предгорьях Кара-Тау, между Сталинабадом и Курган-Тюбе. Мой путь в Таджикистан начался от Клинского «Станкореמצавода».

По гороскопу я рак. Родился в июле 1925 года. Жизнь так складывалась, что в июле происходили со мной все более или менее заметные события. В июле 1947 г. я, уже не юношей, сдал экстерном экзамен на аттестат зрелости, в июле 1952 г. защитил диплом и познакомился со своей будущей женой, в июле 1957 г. поступил на работу во ВНИИЛитмаш, где и проработал благополучно 40 лет до развала института и, наконец, в июле же 1986 г. ВТЭК восстановил мне инвалидность ВОВ.

В июле 1952 года, когда я с определенным опозданием, связанным с моей биографией и, главным образом, с великими мировыми потрясениями, получил диплом с присвоением звания инженера-механика по специальности «Машины и технология литейного производства», я ликовал. Как отличник потенциальный работник так называемого «горячего производства», я получал в институте повышенную стипендию 600 рублей. Сопоставляя, замечу, что молодой специалист инженер обычно в то время получал первую зарплату 850-950 рублей. Во время учебы меня постоянно угнетало, что здоровый балбес на пороге тридцатилетия практически ничего не вносит в семью. Небольшие и несистематические приработки картины не меняли.

И вот я инженер. Ожидая распределения на работу, я наивно надеялся на лучшее и пребывал в состоянии эйфории. Объективно мои оптимистические выкладки основывались на следующем: четыре года я был старостой группы и упорно помогал деканату в борьбе с прогулами и неуспеваемостью. Три года я редактировал факультетскую стенную газету «Технолог». Наконец, среди сплошного ряда пятерок в приложении к диплому редкими вкраплениями светились три-четыре четверки. Кроме этого, я был участник Великой Отечественной войны и на фронте был принят кандидатом в члены КПСС. В своей партийной карьере я сравнивался с маршалом Василевским, который шесть лет пребывал в кандидатах, так как ему боялись дать рекомендации из-за того, что его отец был священником. Перед защитой диплома меня, наконец, приняли в члены партии. При этом рекомендацию мне дал декан технологического факультета Тамбовцев, член партии с дореволюционным стажем. По партийной линии я постоянно являлся руководителем каких-либо кружков и пропагандистских семинаров.

Свое неудавшееся путешествие в Испанию я считал мелким эпизодом, а политические репрессии родителей и родственников, произошедшие до войны, 15–16 лет назад, давно прошедшими и малозначительными

событиями. Как я заблуждался! Сталин был еще жив, а Берия, подписавший освобождение меня из-под стражи с зачетом срока предварительного заключения в срок наказания, смотрел зорко. И хотя Тамбовцев на партсобрании в Станкине, защищая свою рекомендацию, мужественно заявил, что «дети за отцов не отвечают», и я был принят в члены КПСС, все свершилось так, как и должно было свершиться в то время.

Председатель комиссии заместитель министра по кадрам М.П. Иванов имел собственную, скорее всего директивную точку зрения. На комиссию меня вызвали последним из группы и сообщили, что ни в Москве, ни в научно-исследовательских организациях Союза мест нет, и мне предлагается место в литейном цеху Коломенского завода тяжелых станков. Это была явная ложь, так как я точно знал, что директор НИИЛитМаш бывший доцент нашей кафедры И.П. Егоренков подал на меня заявку. Памятуя, как «нежно», но твердо меня выставили с инженерно-физического факультета Механического института, я не стал спорить и, подписав бумагу о согласии, отправился в очередную туристскую поездку.

Надо сказать, что я был председателем секции туризма и альпинизма Станкина и заместителем председателя совета по туризму в Московском обществе «Наука». Руководство туристическими походами занимало обычно все мое каникулярное время, а иногда приносило доход за тренерскую работу.

В министерство за направлением я не пошел, а направился в село Троицкое под Подольском на Всесоюзную спортивную базу «Городок», куда меня пригласили в качестве тренера на сбор для подготовки инструкторов-общественников по туризму, проводимый обществом «Наука». Наш контингент составляли студенты московских вузов и сотрудники институтов Академии Наук СССР. В подавляющем большинстве это были великолепные ребята и чудесные девушки. Я занимался со своей группой с большим удовольствием и отвечал неопределенной взаимностью на иногда очень определенные проявления симпатии ко мне. Нам предстоял поход П. категории трудности, и меня назначили руководителем этого похода. Я подобрал подходящий маршрут через Мещерский край и собрал себе отделение из участников сбора, которые были мне симпатичны. В связи с тем, что поход, включая дни ухода и прихода, длился 15 дней, а число туристов, включая и меня, было 13, я установил порядок, при котором каждый участник группы на один день становился полным и безусловным руководителем, которому все должны были безоговорочно подчиняться. Возраст туристов был от 20 до 30 лет. Преобладала молодежь. Среди туристов был Михаил Фокин впоследствии профессор директор Института коррозии АН СССР, Иванов – парашютист-диверсант, но были и веселые, беспечные ребята и девчата, которые отправились в поход весело провести каникулы. Среди участников меня волновала молодая сотрудница Института физической химии АН СССР Аня Шамрай, которая через шесть лет стала моей женой почти на полвека.

Аня была спокойной, коммуникабельной, трудолюбивой. Она всегда была там, где что-то нужно было делать, и, казалось, любая работа доставляла ей удовольствие. Миниатюрная и подвижная, она ни в каких обстоятельствах не была лишней. Имея 165 см роста, я в армии считался «ниже среднего», что меня не особенно угнетало, но всегда определяло подход к женщине. В исключительно редких случаях объект моего внимания был выше меня и, как правило, я быстро скисал и сникал рядом с ними. Анечка была ниже меня на несколько сантиметров и носила обувь 35 размера. Впоследствии я узнал, что в Академии её называли «колибри». Мы достаточно быстро и совершенно незаметно для окружающих продемонстрировали друг другу взаимную симпатию. Последнее было совершенно необходимо для поддержания моего авторитета начальника похода. Отмечу, что конец войны и до 1947 года Анечка

провела в разведывательных организациях и великолепно владела умением маскировки своих чувств. В то же время в нашей группе была симпатичная волевая студентка, которая открыто «наложила на меня руку». Она организовывала мое место принятия пищи и спальное место рядом с собою, таким образом держала мое поведение в стальных тисках. Это поддерживало нашу с Анютой маскировку, поэтому я не препятствовал её усилиям. Теперь, полвека спустя, я точно знаю, что поступал, по меньшей мере, некорректно.

Следует вернуться к моей психологии отношений с женщинами, которая «железно» владела мною в то время. Ещё в довоенное, школьное время у меня сложилось особое отношение к женскому полу. Я считал, что мое общественное положение бывшего «политического заключенного» и родственника репрессированных не дает мне морального права вовлекать в близкие отношения девушек, на которых этот призрак набросил бы свою тень. До войны я был дважды влюблен. Но одна из девушек – объект моих душевных терзаний – была дочерью директора оборонного завода. С этим «объектом» я встречался после демобилизации и даже добрался до её квартиры, после чего поставил крест на наших отношениях и выбросил его из своих желаний и мыслей. Второй случай был сложнее. Во-первых, милейшая девочка сама призналась мне в своих чувствах, во-вторых, сеть её репрессированных родственников была шире и глубже моей, так как уходила к дворянским родственникам, занимавшим высочайшие посты в дореволюционное время, а родной брат постоянно преследовался, так как был взят в плен во время войны и работал на немецком заводе. В этом случае я не хотел усугублять её положение и прочитал ей сверхглупую нотацию. Она зарыдала, я неумело её успокаивал, Вскоре началась война, которая нас окончательно развела. После войны мы встречались, переписывались очень тепло. Она во время войны вышла замуж и была как будто бы очень счастлива. Умерла она рано, а у меня сохранились к ней самые теплые чувства, и в душе всегда светлеет, когда вспоминаю наши полудетские, но такие искренние и честные отношения.

Итак, мы двигались по маршруту. Одни вели группу лучше, другие хуже, но в целом удовлетворительно справлялись со своим временным руководством, Следует отметить, что все держались дружно и оказывали поддержку друг другу. В предпоследний день руководство группой пало на меня. Я выбрал этот день с целью продемонстрировать «образцово- показательное руководство». Весь день нужно было идти через лес, точно ориентируясь, чтобы к вечеру выйти на маленькое озерцо, на берегу которого размещалась база лесников. Мы двигались, я ориентировался по солнцу, компасу, карте. Приближалось восемь часов вечера, а лесу не было конца, и он стеной стоял перед нами. Не то чтобы я боялся заблудиться. В конце концов, двигаясь в целом в правильном направлении, мы бы вышли к концу леса. Дело было в том, что нить, на которой держался мой престиж, становилась все тоньше, и возможность её разрыва неуклонно приближалась. Я становился все мрачнее, наблюдая, как моя команда перешептывается и берет под сомнение мое реноме «старого разведчика». С нервным напряжением я вспоминал эпизоды своих походов, когда карты не соответствовали действительной местности. До восьми часов, когда мы обычно прекращали движение, оставались считанные минуты. Меня начало слегка подташнивать. И тут произошло чудо. Лес неожиданно оборвался, и мы вышли на широкую, освещенную заходящим солнцем луговину, в середине которой блестело озеро, на берегу которого красовался живописный хуторок со стройной пятистенкой посередине. Некрашенная крыша избы ослепительно сверкала в лучах заходящего солнца. Нигде и никогда в жизни ни до, ни после этого момента я не видел таких обращенных на меня восхищенных глаз.

Вернувшись в конце августа в Москву, я узнал, что Коломенский завод тяжелых станков от меня отказался, и Минстанкопром перераспределил меня на Клинский станкоремзавод, подчинявшийся «Реммаштресту». Этот трест являлся последним по престижности подразделением министерства. Я ответил министерству взаимной любезностью и вместо Клина через пару дней возглавил туристский поход активистов «Науки» по маршруту Сходня – Звенигород – Бородино. Поход прошел очень весело, и после него остался большой запас «капитального продовольствия» – крупа, сахар, консервы. Последнее натолкнуло меня и моего туристского товарища Юру Седова на мысль совершить какой-либо «безумный» поход с использованием упомянутых остатков.

Я съездил в Клин, переговорил с директором «Станкоремзавода» Черевко, который оказался очень симпатичным человеком. Он предложил мне работу заведующим заводской лабораторией и согласился на мой месячный отпуск перед началом работы. Дальше, как говорится в песне «были сборы недолги...», мы выбрали и разработали маршрут по рекам Архангельской области: Пинеге, Покшеньге и Пукшеньге – и оформили книжку в Московском клубе туристов. Нам пришлось немного смошенничать. Ввиду того, что поход был высшей категории трудности, требовалось, чтобы число участников было не менее четырех. Мы вписали в маршрутную книжку двоих своих уральских друзей, которые любезно поддержали нашу идею. Шестнадцатого сентября мы ворвались в бесплэцкартный вагон поезда «Москва – Архангельск» и через 28 часов выгрузились в пункте начала нашего путешествия. Техническая сторона этого путешествия детально описана во второй книжке альманаха «Туристские тропы» в разделе «По районам». Попытка описать поход «как это было» была решительно пресечена редакцией альманаха. Этот чудесный поход по рекам и озерам практически в безлюдной местности проходил удивительно интересно. Мы ночевали в охотничьих избушках, въезжали носом своей долбленки в стаи уток, любовались парящими парами лебедей. С криком «Вперед, чешский лев» мы совершили волок между реками Охтома и Пукшеньга. Первый снег побелил ели. Наша долбленка становилась все более рыхлой. Мы вернулись в Усть-Пукшеньгу под падающим снегом и, под угрозой опоздать на последний пароход, совершили в последний день переход в 64 км. Нас подобрали двое «сеноставов», так как наш «Егорыч» пришел в негодность от волоков и преодоления порогов.

Так или иначе, восьмого октября я приступил к работе заведующим лабораторией на Клинском станкоремонтном заводе. Работа двигалась успешно. Я наладил химический анализ чугуна, который до этого на заводе отсутствовал, Черевко был мною доволен и в марте 1953 г. предложил мне по совместительству исполнять обязанности заместителя начальника литейного цеха. После разговора с начальником цеха Сашей Герчиковым согласился. Герчиков был чудесный человек, прекрасный специалист. В дальнейшей жизни обстоятельства часто сводили нас. К сожалению, он безвременно скончался, работая уже в ЭНИМСе заведующим лабораторией. Летом Герчиков сдал экзамены в аспирантуру ЦНИИТМАШ и ушел с завода. Мне пришлось возглавить литейный цех.

Лето и осень 1953 года были ужасны. Началось с того, что в литейном цеху обнажили перекрытия для проведения замены плит. Воскресенский завод, который должен был поставить плиты, нам отказал. Начался период непрерывных проливных дождей. Постоянно происходили замыкания электропроводки, особенно опасны были замыкания главных троллеев мостовых кранов. Одна из крановщиц в момент замыкания с испуга спрыгнула с крана. На её и моё счастье, все обошлось благополучно. Мне самому приходилось работать на кране, когда мы заливали большие отливки из двух

ковшей. Один из кранов окончательно вышел из строя. Сушила рушились, и мы не могли выполнить номенклатуру по сухим формам. Энергии не хватало, так как ТЭЦ 507-го комбината стала на ремонт, и завод понудили давать энергию городу. Часто отключали подачу воды, и тут же останавливался компрессор, и, следовательно, останавливалась машинная формовка. Такова в некоторых деталях картина. В один из таких дней на завод приехал Саша Герчиков и предложил отметить свой уход. Собрались пятеро – директор, главный инженер, Герчиков, начальник производства и я. Надо отметить, что, как правило, литейщики выпить «не любят». Аккуратные немцы постоянно провозглашали на СЭВских совещаниях: Ein schlechtes Eisen, das niht lauft, ein schlechter Gießer, der nicht sauft!

Наш Афанасьич был великий мастер по этой части. За все время работы на заводе, даже во время поездок в Москву в «Реммаштрест», в которые он иногда брал меня в качестве сопровождающего, я ни разу не видел его трезвым. Ради установления истины отмечу, что рассудка он никогда не терял. Частенько он «занимал» у меня в лаборатории спирт «для служебной надобности». Долг он никогда не отдавал, но зато подписывал выдачу спирта со склада по установленным мною «нормам». Мы уютно расположились в нашей комнате в общежитии и принялись за дело. Не помню, сколько мы пропустили, но нам показалось мало. Магазины уже закрылись, и Черевко предложил пойти в буфет на станции Клин, который работал до полуночи. Саша Герчиков был виновник торжества и гость. Среди остальных я был самым молодым и младшим «по чину», жребий идти за «горючим» пал на меня. Я накинул пальто и трусцой побежал на станцию. В буфете водки не было, но была чудесная чача в бутылках по 0,75 л. Взяв две бутылки и рассовав их по карманам, я с чувством выполненного долга отправился на завод. К заводу вела тропинка, освещенная редкими фонарями. Я обратил внимание на две тени, которые явно догоняли меня. Это было время, когда прошла амнистия после смерти Сталина и в Клину «ребятки побаловывались». Несколько дней назад молодой парень вечером напал на стрелочницу нашей заводской железнодорожной ветки. Крепкая храбрая женщина отутюжила его фонарем. Оказалось, что это молодой рабочий с нашего завода, и утром его забрали, опознав по отметинам на лице. Теней было две, и они догоняли меня. Я шел быстро, и им пришлось оббежать меня. Один был худенький паренек лет 16-17, зато другой – верзила, раза в полтора выше и шире меня. Загородив мне дорогу, старший выдал: «дай закурить». Я ответил «не курю» и, отстранив его плечом, пошел дальше. При этом я изо всех сил напряжился и сжал за горлышко бутылку с чачей в правом кармане. Парочка снова оббежала меня, и верзила возобновил разговор. Теперь он не терял время на пустые разговоры, реплика его была короткой и конкретной: «Снимай пальто». Я был одет в старое пальто с плеча моего отчима. Единственным его достоинством был слегка поношенный каракулевый воротник, который, видимо, в полутьме и привлек моих грабителей. Для большей убедительности своего требования амбал достал из кармана нож. Мои действия были мгновенны, как будто бы я снова лицом к лицу столкнулся с немцем на переднем крае. Они видимо были неожиданны для моего противника. Я быстро выдернул бутылку из кармана и что было силы, ударил его по голове слева. В этот момент мною двигали те же самые пружины, которые бросали на немца, предназначенного быть «языком». Бутылка раскололась, а он повалился с криком «убью». Держа «сверкающий зубьями» остаток бутылки за горлышко я кинулся на молодого, который обратился в бегство. Тяжело дыша, понемногу успокаиваясь, я бросил осколок бутылки и, не оборачиваясь, быстро пошел на завод. Когда входил в общежитие увидел, что все сидят на местах, с нетерпением дожидаясь моего возвращения. Я доложил: «водки нет, я взял последнюю бутылку чачи». Мы

посидели еще с полчаса, распили принесенную мною бутылку и мирно разошлись.

Утром я спокойно пошел в цех. Меня волновала лишь возможность реванша, который мог обрушиться на меня в ближайшее время. Нормировщица принесла мне на утверждение гору нарядов, и я рассказал ей, что вечером с меня пытались снять пальто, но все обошлось благополучно. Примерно через час-полтора мне позвонила секретарь директора и попросила зайти к Черевко. Я направился в кабинет директора и войдя увидел, что у него сидит капитан милиции. Меня подробно расспросили о деталях вчерашнего происшествия. Я рассказал все, как было. Капитан дополнил мой рассказ. Позднее выяснилось, что напавший на меня парень только две недели как вернулся из заключения, второй был его младший брат. Мой удар в висок оказался смертельным, мальчишка, напуганный, побежал в милицию. Сочинил историю, что они шли с братом, на них напали, он запутался в деталях, откуда и куда они шли. Милиционеры пришли на место происшествия и подобрали финский нож, который мне на пользу валялся в снегу на месте происшествия. Утром в милиции сняли с рукоятки ножа отпечатки пальцев. Моя версия и авторитет Черевко взяли верх, а мальчишку посадили в КПЗ. Следует отметить, что у меня были «отношения сотрудничества» с райотделом НКВД, так как я был единственный в районе руководитель лаборатории с металлургическим уклоном и числился у них внештатным экспертом. Мне пришлось там проводить две экспертизы. Первый раз я устанавливал причину аварии, когда следовавший своим ходом из Калинина колесный экскаватор развалился на Ленинградском шоссе, на пару часов перегородив движение, а второй, когда два местных водителя воровали чугунные чушки со склада и сдавали их «Вторчермету» под видом отходов.

Ввиду смерти главного виновника происшествия и первого привода его младшего брата милиция закрыла дело, не передавая его в суд, и выпустила пацана через несколько дней. Меня пригласил зам. начальника Клинского НКВД и провел со мной «дружескую» беседу. Смысл её был прост. В Клину после амнистии собрался довольно обширный клан уголовников. Они все знают друг друга и сводят счеты с неугодными. Вполне возможно, что они захотят рассчитаться со мной и где-нибудь в кино, магазине или в толпе ткнут мне в спину ножик или ударят чем-нибудь тяжелым по голове. Он посоветовал мне тихонько уволиться с завода и убыть в неизвестном направлении из Клина. Черевко он известил и просил его отпустить меня с завода без шума и огласки. Я поблагодарил начальника и призадумался.

На заводе мне катастрофически не везло в этот период. Сначала один малограмотный обрубщик, сломав замок в лабораторию, а затем, сорвав навесной замок со шкафа с химикалиями, умудрился налить в стакан «напиток» из бутылки с надписью «царская водка». Моя судьба висела на волоске, меня чудом спасли два сорванных замка. Через некоторое время произошло новое ужасное происшествие. Мы в открытых формах без «верха» отливали плиты размером два на три метра. Залитые формы засыпали песком и огораживали. Однажды во время обеденного перерыва рабочий механического цеха решил спрямить дорогу в столовую через наш цех, перемахнул через загородку и прыгнул на песок, прикрывавший раскаленную плиту. Он поскользнулся, упал и сгорел. Я в это время был в командировке в Егорьевске на заводе «Комсомолец» по вопросу активирования наших бракованных отливок. Черевко как-то сумел отвести грозу от литейного цеха, но тягость от случившегося еще долго давила на наш цех и на меня в первую очередь. И «наконец» третье происшествие ударило прямо по мне. В цеху не было постоянного литья меди, и, когда заводу требовались медные отливки, устанавливали тигель и разводили под ним костер. Плавить медь поручали

лучшим литейщикам. В цеху были две такие группы, две семейные бригады, сформированные из родственников, живших в прилегающих к Клину деревнях.

В каждой бригаде был семейный бригадир, старший и наиболее опытный литейщик. Вторая бригада состояла из глухонемых. Сейчас не помню, откуда и как их к нам направляли, но отлично помню троих из них. Один был модельщик. Вообще модельщики привилегированная элитная специальность среди литейщиков. А наш вообще был бог-модельщик. Бросив взгляд на чертеж сложной станины и посмотрев на него минуту-другую, он мысленно строил положение отливки в форме, расположение стержней и литниковой системы. За все время моей работы он ни разу не ошибся. При этом ему была присуща «гордая вредность». Прогуливаясь по модельному отделению, он замечал все чужие ошибки, которые делали невозможным использование модели. При этом он молчал до тех пор, пока модель не была полностью изготовлена. Тогда он подходил к модельщику и с гортанным смехом тыкал пальцем в чертеж, указывая на ошибку. Модельщики злились, но относились к нему с уважением, так как негодная модель не уходила в литейный цех. Под стать ему была жена, которая пользовалась в Клину славой лучшей закройщицы в городском ателье. Она тоже была глухонемая. Лучшим обрубщиком также был глухонемой гигант. Обрубка обычно проходила в третью смену, и он обрубал в полтора-два раза больше, чем другие. В полупустом цеху изредка гремел его голос, издававший вполне понятные матерные выкрики. Больше он ничего внятно не выговаривал. Третьим был симпатичный спокойный формовщик, которому всегда поручали изготовление наиболее сложных мелких форм ручной формовки. Я поручил ему расплавить бронзу и передал навешенную шихту (медь, олово и др.). Он установил тигель, набросал в него шихту и развел вокруг него коксовый костер. В процессе плавки он взял металлический стержень, чтобы помешать содержимое ковша. Стержень был, видимо, мокрым, произошел выброс, и брызги попали ему в лицо. Его тут же отвели в медчасть и сообщили мне. Я был потрясен. Еще бы – глухонемой, он мог остаться еще и слепым. Моя карьера литейщика с позором прекращалась. Я побежал в санчасть. К общему удовлетворению, если можно так сказать, все обошлось более или менее благополучно. Травмы были ограничены двумя-тремя ожогами лица. Глаза остались нетронутыми. Нервы мои были напряжены до предела. С помощью старейшин – бригадиров я организовал исправление брака при отливке станин методом горячей заливки и много сил затратил на организацию участка печного литья на экспорт для Алжира по приказу министра. Я спроектировал и с помощью службы механика собрал вагранку малой производительности, за что министр перевел заводу премию в шесть тысяч рублей.

Все эти события проносились у меня в голове, вызывая привязанность к заводу и цеху, который стал частью меня самого. В Клину я сдружился, как теперь говорят, с двумя женщинами. Одна была учительница из Высоковского, к которой я бегал на лыжах 12 км, а вторая была работницей из категории «ивановских ткачих» и была до глубины души предана мне. Все рушилось. Рушилась и моя глубокая дружба с Анютой. Я стал искать решение.

Летом 1953 года я участвовал в невероятно интересном туристском походе по западному Тянь-Шаню. Поход начинался в Киргизской ССР на станции Маймак, далее мы пересекали хребет Таласского Ала-Тау и по долине реки Ойгаинг, входившей тогда в Киргизию, выходили к реке Псхем и далее по территории Узбекистана с заходом на Большой Чингам выходили к железной дороге. Это была моя первая поездка в Среднюю Азию, и поход произвел на меня колоссальное впечатление.

Как раз осенью 1953 года все партийные организации взялись за выполнение решений Сентябрьского пленума ЦК КПСС, в котором были

поставлены задачи помощи сельскому хозяйству, в том числе о посылке специалистов из промышленности для укрепления кадров колхозов и МТС.

Я принял неординарное решение и написал письмо в ЦК КПСС, где сообщал, что я работал в сельском хозяйстве вплоть до механика совхоза «Комсомолец» в Татарской АССР, что я знаю горы и готов отправиться в любое время по указанию ЦК. Ответное письмо было передано в Министерство сельского хозяйства, и я вскоре получил разрешение выехать на работу в МТС в Таджикскую ССР.

К подаче заявления меня подтолкнула еще и обида на Черевко. Уговаривая меня временно поработать начальником литейного цеха одновременно с заведованием химической лабораторией, он обещал, что по одной из должностей мне будет выплачиваться 50% оклада. И вдруг девочки из бухгалтерии мне «доклаживают», что оклад по лаборатории полностью получает вновь избранный секретарь парторганизации. Ввиду небольшого объема производства и, главное, малого количества работающих нашему заводу не полагалось иметь освобожденного секретаря парторганизации. И вот хитрый Афанасьич убил двух зайцев: уговорил меня возглавить цех и получил освобожденного секретаря парторганизации за счет моей зарплаты. Получив письмо из Министерства сельского хозяйства, я купил билет до Сталинабада (так называлась тогда столица Таджикистана).

Новый год я решил отметить дома. Как говорится, не повезет, так не повезет. Под самый новый год я, не скашивая глаз, видел, что моя верхняя губа превратилась в птичий клюв. В то же время я не чувствовал никакой особенной боли. Пришлось отправиться к стоматологу. Оказалось, что в верхней челюсти у меня сидит осколок, вокруг которого началось воспаление. Мне удалили два передних зуба и вытащили осколок, который врач подарил мне на память. Опухоль буквально на глазах таяла, и я отправился в Таджикистан без осколка, без опухоли и без двух передних зубов. Правда, проведенный впоследствии рентген головы показал, что в верхней челюсти был еще один осколок, но все эти годы он сидел тихо.

Второго января 1954 года в 17.55 в поезде № 24 я отправился с Казанского вокзала в Сталинабад. По расписанию до Сталинабада было 135 часов езды. Пять с половиною суток я тер свои бока о вагонную полку. Сквозь полузамерзшие окна в сумраке непогоды проплыли Рязань, Пенза, Куйбышев. До самого Актюбинска мороз доходил до 28 по Цельсию, но уже в Чиили запахло весной. Ташкент запомнился великолепным борщом; от Самарканда поезд не пошел прямо на Карши, а сделал петлю через Навои и Каган. Каган запомнился мне вкусной лапшой. За Каганом сгустились тучи, а за Термезом вопреки географической логике повалил снег. Он шел и в Сталинабаде, куда поезд прибыл 8 января в 11 часов. Различие во времени с Москвой составляло 3 часа. Время в дороге проходило не скучно. Как и летом во время поездки в Киргизию, на станциях кипела торговля с рук. По мере движения на юг номенклатура торговли постепенно менялась: картошка, рыба, носки и перчатки из верблюжьей шерсти и, наконец, вяленые и даже свежие дыни.

На второй день пути я перебрался в купе, где ехали три сталинабадца – заведующий горторготдела Главгастронома Федор Акимович Катаев, один из старейших автомобилистов республики Аллахвердов и старичок, работник Водхоза, который возвращался из санатория в Боржоми. Я вспомнил свои ржевские дни. Более ста часов дороги мы от души и без перерыва обменивались информацией. Для меня вся информация о Средней Азии вообще и о Таджикистане особенно имела огромную ценность. Особенно полезны и интересны были рассказы Аллахвердова. Долго и подробно он рассказывал о прошедшем в Сталинабаде уголовном процессе над директором дорресторана

Таджикского участка Ашхабадской железной дороги Косте – короле республики. Вместе с Костей были осуждены 11 или 13 человек.

Кратко – суть этого дела в следующем. Костя летчик, потерявший на войне руку, грузин по национальности, организовал и широко развил в Таджикистане торговую сеть от имени Ашхабадской железной дороги. Главные криминальные направления его деятельности были: 1. Он не зависел ни от Сталинабада, ни от Ашхабада, видимо, не без воздействия на руководящих лиц в обеих республиках. Во время суда это квалифицировали как «ловкость» Кости, который в Ашхабаде ссылался на Сталинабад, а в Сталинабаде – на Ашхабад. Он установил прямую связь со спиртоводочными производствами, и в его заведениях всегда была дешевая качественная водка. Борьба за престиж и качество, по рассказу Аллахвердова, погубила Костю. Ему доложили, что в одном из принадлежавших ему ларьков продавщица отпускает клиентам разбавленную водку. Костя внезапно нагрязнул «с ревизией», получил подтверждение факта и выгнал продавщицу. Обиженная женщина, понимавшая, что в Сталинабаде на Костю управу не найти, поехала в Москву и дала соответствующие показания. Из Москвы прилетела бригада, которая накрыла авиатранспортировку спирта на Памир и развязала дело. Косте дали 25 лет. В последнем слове он обрушился на прокурора республики, перечисляя дары, которые он ему делал. Последней репликой Кости было: «Я-то скоро выйду, а ты сядешь и долго просидишь». И верно. Я ещё работал в Таджикистане, когда Костя вернулся из заключения, а прокурора республики действительно посадили.

Вторую историю Аллахвердов поведал мне о председателше республиканского банка, которая непонятными путями выкрала из банка миллион рублей. Якобы ей предлагали за полную реабилитацию открыть, как она это сделала. Однако она заявила, что ее отец был помещик, и все их имущество было конфисковано, Она произвела оценку всего имущества и изъяла этот «несчастный миллион». Её осудили, а миллион потерялся, и не были установлены ни пути утечки, ни место его хранения. Аллахвердов был веселый разговорчивый армянин, и, видимо, его работа по организации автотранспорта в республике, не накладывала на него никаких «табу». Катаев все время останавливал его, переводя разговор на природу и национальные особенности республики. Это тоже было интересно, но байки Аллахвердова были куда занятнее.

За окном проплыл заснеженный пейзаж близлежащего хребта, и вот я уже выплунут на Сталинабадский вокзал. Была первая половина дня, и я отправился в Министерство сельского хозяйства. Министерство не охранялось, и я прошел в отдел кадров. У меня взяли письмо и предложили прийти завтра. Министерство выходило фасадом на площадь, где справа размещалось симпатичное здание гостиницы «Сталинабад», напротив – Республиканский театр оперы и балета. Я направился в гостиницу и без всяких сложностей получил место в двухместном номере.

Мой сосед был в номере. Мы познакомились, я подробно представился и описал мое положение в данный момент. В ответ я также услышал полное представление и понял, что мой сосед скучает и рад любому напарнику. Мой сосед был скульптор и художник по фамилии Осетинский. Он разрабатывал проекты и строил, главным образом, въездные арки в колхозы и совхозы республики. Местом его рождения и прежней, до Таджикистана, жизни был Ленинград. По возрасту он был в два с половиной раза старше меня. По национальности – еврей. Это подтолкнуло меня на не совсем корректный вопрос, как он жил за пределами черты оседлости. Он спокойно разъяснил мне, что его отец был купцом 1 гильдии и таким образом законы черты оседлости его не касались. Между нами возникла симпатия. За годы жизни

в Таджикистане мы периодически встречались. Я всегда был рад этим встречам и получал от него разумные деловые советы. Первый из этих советов я получил во время проживания в гостинице в ожидании устройства на работу.

Судя по приказам, вопрос о моем назначении решался в Министерстве с 8.1 по 17.1, так как приказ по П. Октябрьской МТС о назначении меня на должность заведующего МТМ датирован 16.1, а срок вступления в должность установлен 8.1, т.е. со дня прибытия в Сталинабад. Шесть дней я ежедневно являлся в министерство и получал вежливое указание зайти завтра. Прежде всего, я использовал свободное время для изготовления зубного протеза, который закрыл дыру в верхней челюсти, полученную в новый год в Москве. Сталинабадский дантист за небольшую плату справился с этой задачей. У меня было достаточно времени для детального знакомства с городом.

Первым объектом моего внимания стал Театр оперы и балета, самое грандиозное здание в городе в то время. Театр возвышался напротив моих гостиничных окон на фоне ослепительно белых сверкающих вершин Гиссарского хребта. Вблизи было видно, что здание еще полностью не оштукатурено, издали это было незаметно. Я купил билет, не помню, на какой спектакль. Зрительный зал очень большой, ни на минуту не покидало ощущение просторности. Внутренние стены театра оформлены национальным орнаментом. В зале царил полумрак. Или по проекту было заложено недостаточное освещение или были ввернуты лампочки меньшей мощности. Позднее я узнал, что в Сталинабаде острый недостаток энергии, может быть, этот полумрак был директивным. Раздевалка маленькая,



тесная, видимо, рассчитанная на жаркий климат. Туалеты вынесены за пределы театрального здания и, чтобы попасть в них, нужно взять контрамарку. Такое внимание к театру здесь объясняется тем, что за шесть дней ожидания я пошел в него вновь на «Лебединое озеро» да не один, а с дежурной по нашему этажу Машенькой. Времени свободного у меня было хоть отбавляй. Я быстро изучил все остальные магистрали и здания города. Вечером, изнывая от безделья, слонялся по гостинице и болтал с дежурными по этажу. Машенька вызвала у меня глубокую симпатию. Машенька была «хетагуровка», то есть в довоенные годы она по призыву комсомола отправилась на Дальний Восток и вышла замуж за лейтенанта-пограничника. У нее уже было двое детей, когда мужа «перекинули» на советско-германскую границу в Литву начальником заставы. На заре 22 июня 1941года застава приняла бой. Муж приказал ей – бери документы, детей и беги на восток, ей удалось раньше немцев добраться до Каунаса, откуда командование организовывало эвакуацию семей своих людей, и она добралась до Туркмении. Оба ребенка заболели пендинкой и умерли. Она уехала в Таджикистан и нашла работу коменданта общежития в Текстильном техникуме, там ей выделили комнатку 4 или 5 кв. метров. В момент, когда мы познакомились, она жила в этой комнатке, а работала в гостинице «Сталинабад». Вскоре после нашего знакомства её назначили дежурным администратором по гостинице. В этой должности она и пребывала

до моего убийства из Таджикистана. Маша охотно болтала со мной, но все мои попытки поухаживать за ней наталкивались на стену непонимания. Я поделился своими попытками и неудачами с Осетинским. Он немного посмеялся надо мной и посоветовал пригласить Машеньку в театр. Я последовал его предложению, и Маша сразу и с радостью согласилась. И мы отправились на «Лебединое озеро» Я видел, что она получает от спектакля большое удовольствие, и радовался от души. После окончания спектакля мы отправились в гастроном, я набрал выпивку и закуску, и мы пошли к ней в комнату. «Так и возникла эта самая любовь...», которая легко преодолевала все возникающие трудности МТСовской жизни и продолжалась до последнего дня моего пребывания в Таджикистане. Я имел преданного и нежного друга. А что же Анюточка? Чувства мои к ней были гораздо глубже. Но ведь она была связана службой с органами. В конце войны была в разведке, а с 1947 года работала в первом отделе Института электрохимии АН СССР. Я постоянно думал о ней, но считал, что мое перемещение в Таджикистан – оптимальное решение для наших отношений...

Последние дни пребывания в Сталинабаде скрашивало знакомство с председателем ДОСААФФ Горно-Бадахшанской автономной области, задержавшимся в столице на неопределенный срок. Задержка была вызвана тем, что движение по тракту Сталинабад – Хорог – Ош было уже остановлено на зимний период, а на изредка прорывавшиеся самолеты все время находились более важные пассажиры с неотложными делами. Мой новый приятель, проживавший в соседнем гостиничном номере, был здоровенный крепыш, демобилизованный офицер, участник Великой Отечественной войны. По национальности он был татарин, что практически сводило к нулю возникавший у меня иногда языковой барьер на улицах города. Город был переполнен «криминальным элементом», который после амнистии и наступления зимних холодов переместился на юг. Днем этот элемент вел себя довольно мирно, очищая карманы пассажиров городского транспорта и прилавки ларьков и магазинов. С наступлением темноты положение резко менялось. «Элемент» собирался в группы, и горе было случайному прохожему, который встречался с такой группой: его обчищали, а иногда и раздевали. Мой бадахшанский товарищ уговорил меня пойти в гости к его родственникам, где мы засиделись до темноты. Хозяева уговаривали нас остаться ночевать, но мы самоуверенно отказались. Сначала все шло хорошо и тихо. Подходя к переходному мосту на вокзальную площадь, мы заметили группу в пять – семь человек, которые нас преследовали. Быстро поняв, что к чему, мы бегом направились к мосту, наша преследователи рванулись за нами. Я – первый, мой товарищ – второй устремились на мост, нам нужно было пересечь мост, так как спускная сторона моста была освещена, а на вокзальной площади ходили воинские патрули с винтовками, заряженными боевыми патронами. Мы не достигли еще горизонтальной части моста, когда нас догнали бандиты. И тут мой товарищ показал, что он не зря командовал взводом и ротой в пехоте. Обернувшись, он ударил со всей силой первого бегущего за ним ногой, обутой в сапог, в грудь. Тот полетел с моста, увлекая бегущих за ним следом, а мы уже ворвались на охраняемую патрулями вокзальную площадь.

Часть 2

Утром шестнадцатого января мои любовные игры с милой Машенькой, а также познавательное шатание по городу оборвались. В Министерстве сельского хозяйства мне, наконец, сообщили, что я назначен заведующим

машинотракторной мастерской (МТМ) 2-й Октябрьской МТС, и выдали на руки приказ с подписью замминистра и печатью. Я уточнил у сотрудников местонахождение нового места моей жизни и работы, выяснил, каким способом туда добраться и отправился. Можно было вызвать транспорт из МТС, но я предпочел добираться до Курган-Тюбе на «пассажирке». «Пассажиркой» именовался рейсовый автобус «пазик», который по расписанию ходил с автовокзала. Я успел втиснуться внутрь битком набитого, главным образом, мешочниками, возвращавшимися из столицы, автобуса, который был близок к «предельно допустимому напряжению на разрыв», и отправился в неизвестный мир.

Приключения, милый Машенькин образ, кино и театры все уплывало, а за окнами мелькали незнакомые мне пейзажи. От Сталинабада до Курган-Тюбе по дорожным столбам 106км. За годы работы в южном Таджикистане я множество раз туда и обратно проделывал этот путь и до сих пор помню, как особое чувство волнения охватывало, меня, как только я выезжал на дорогу. Все мысли о жизненных обстоятельствах, о работе мгновенно улетучивались, и я погружался в процесс «любования» окружающей природой. Да и было, чем любоваться. Быстро прорываясь через южную промышленную часть Сталинабада, машина сворачивает на первый участок шоссе, ведущий к г. Кокташ. До Кокташа дорога несколько раз пересекается с узкоколейкой, которая параллельно протянулась до селения Нижний Пяндж на афганской границе. На подъезде к Кокташу шоссе по мосту, общему с УКЖД, пересекает реку Кафирниган. Я всегда удивлялся чудесному разнообразию рек Таджикистана. Прибегающая с отрогов Гиссарского хребта Дюшамбинка питалась ледниками и стекала по руслу из нерастворимых пород. Вода её была настолько чиста, что шофера при необходимости доливали ее в аккумуляторы вместо дистиллированной. Уже упомянутый Кафирниган вытекал с высокогорий Карамегинского хребта и пробегал мимо Кокташа чистой прозрачной струей, настолько насыщенной растворенными солями, что её даже пить было неприятно. Наконец, поилец и кормилец Вахшской долины Вахш (Дикий), начинающийся на Памире у Китайской границы, у перевала Томуруя (93536 м) питается в основном горными реками Заалайского хребта. Сначала он носит тюркское название Кызыл-су (Красная вода), затем таджикское Сурхоб (Красный) и после слияния с Обинхингоу свое гордое имя Вахш до места слияния с Пянджем на афганской границе. Там он образует великую Амударью, несущую свои воды до самого Арала. В пределах территории и времени моей деятельности воды Вахша, и всех образуемых его водою каналов, были совершенно кофейно-какаоовыми. Чтобы пить эту воду или использовать её для хозяйственных нужд, необходимо было её долгое время отстаивать, причем в осадок выпадало до трети её первоначального объема. Не знаю, это ли было причиной, но мои волосы, постоянно вызывавшие недоброе шипение парикмахерши, которая с трудом загоняла в них машинку из-за густоты, превратились в легкий одуванчик, да еще и с пустынными площадками.

Быстро проскочив небольшой городок Кокташ, автобус начал подниматься в горы. Хребет Кара-Тау постепенно прижимал нас с запада. Сначала шоссе шло по слегка заснеженной долине, сплошь покрытой гузапай, остатками хлопковых кустов после уборки коробочек. Затем несколько километров голой равнины, и, наконец, мы въехали в ущелье и поползли к перевалу Тюль-Назар. Перевал расположен в сорока километрах от Сталинабада, по рассказам «осведомленных людей», на высоте 1620 м. Петляя и извиваясь дорога, прижимаясь к скальным стенкам, забирается все выше и выше. Все годы моей работы в Таджикистане постоянно велись работы по выпрямлению и расширению дороги, тем не менее, дорожные происшествия, часто с трагическим исходом, происходили почти каждый день. К этой

проблеме я вернусь особо, когда расскажу, как, будучи главным инженером Дагана-Киикской МТС я одновременно по просьбе органов внутренних дел выполнял обязанности автоинспектора и в моем ведении был участок шоссе от Оби-Киикадо перевала, точнее южный от перевала горный участок шоссе.

Водитель сделал короткую остановку на перевале. Кое-кто, в том числе и я, вылез из автобуса поразмяться. Заснеженный ровный участок пути в несколько десятков метров длиной, окруженный со всех сторон горами, он ничем особенным не отличался от остальных участков пути. Как это было не похоже на увиденный мной позднее летний ночной перевал, когда после черных, непроницаемых стен через 40 км мглы возникали мелкие, но четкие огни волшебного Сталинабада.

Двигаемся дальше, петляя теперь уже не на подъеме, а на спуске. Водители Таджикистана неофициально делились на две категории. Одни ездили по Сталинабаду, соблюдая правила дорожного движения, другие гоняли машины по спускам, подъемам и изгибам горных дорог, постоянно рискуя сорваться в пропасть. Пожалуй, в то время на десять водителей попадался один, который одинаково хорошо мог ездить по горам и городским улицам. Спуск с перевала, как на север, так и на юг, можно было осуществлять, не включая двигателя почти на половине пути. За перевалом начались земли Дагана-Киикского района. Преодолевая небольшие отроги по плоскогорью, спускаемся к кишлаку Уялы – центру одноименного района, лежащего на равнине. На западе, километрах в двадцати от дороги, белеет покрытая снегом вершина хребта Кок-Тау, высотой 2212 м. За Уялами дорога протянулась по равнине до моста через Вахш. Этот охраняемый пограничниками мост – северная граница Вахшской долины. Мост узкий – автомобильно-железнодорожный, его можно проскочить с ходу, а можно простоять более получаса, пропуская мотовоз с хлопком или перегон отары овец. Зимой Вахш еле дышит, так как в горах почти отсутствует таяние снегов, но долина его, заваленная огромными валунами, напоминает, что Вахш не зря по-таджикски значит «дикий» и летом во время таяния ледников он в полную силу показывает свой свирепый нрав.

У моста небольшая чайхана, которую все время моего пребывания в Таджикистане обслуживали молодая немка с помощницей татаркой, с которыми у меня впоследствии установились вполне дружеские отношения. Река Вахш – северная граница зоны спецпереселения. В предшествующие моему приезду времена спецпереселенцев через мост не пропускала охрана, а податься им было некуда. На востоке Памир, на юге Афганистан, а на севере и западе дикий непроходимый Вахш. Во время моего приезда спецпереселенцы могли уже передвигаться по всей территории Таджикистана, но выезд на родину им был запрещен.

Еще продолжало действовать запрещение покидать зону спецпереселения под угрозой уголовной ответственности. От моста до города Курган-Тюбе – двенадцать километров. Природа резко изменилась. Сильно грело солнце, снега нигде не было. Полностью и чисто от гуза-паи (стеблей хлопчатника) были убраны все хлопковые поля. На въезде в город вполне приличное здание школы, а вот и автовокзал с филиалом дорресторана (памятник Костиной деятельности).

Шоссейка уходит на юго-запад на Джиликуль и Молотовабад, районные центры по направлению к афганской границе.

Если посмотреть на карту Вахшской долины того времени, она была памятником большевистского и коммунистического руководства. Среди районных центров были: Куйбышевабад, Кагановичабад, Микоянабад, Молотовабад, Кировабад, а среди кишлаков и совхозных поселков им.

Ворошилова, Ворошиловабад, имени Кирова, Чапаева, Сталина (дважды), Тельмановский, им. Карла Маркса и т.д. В то время в Таджикистане было три области: Ленинабадская, Кулябская и Горнобадахшанская (автономная). Вахшская долина вместе с районным центром Курган-Тюбе относилась к районам республиканского подчинения. Обилие коммунистических наименований населенных пунктов, видимо, объясняется тем, что Вахшская долина осваивалась и заселялась, главным образом, уже в советское время. Например, в соседней Кулябской области было всего два районных центра с «современными» названиями да и то Советский и Московский. 2-я Октябрьская МТС находилась в четырех – пяти километрах на юг от Курган-Тюбе. К ней вела гудронированная дорога к райцентру Октябрьск и поселку Вахшстрой, где в то время достраивалась перепадная ГЭС.

На попутной машине через кишлак Ильты я через несколько минут прибыл к месту назначения. Недавно построенная МТС находилась буквально в райском месте. Город под боком, ближе, чем свой райцентр и, следовательно, районное начальство. Ранее на территории нашей МТС были фруктовые сады. Наша нефтебаза была огражденной территорией персикового сада, везде росли абрикосы, грецкие орехи, шелковица. Сеть арыков обеспечивала более или менее прохладное существование. Во дворе мастерской располагался хаус (маленький бассейн), в который мы в летнюю изнуряющую жару несколько раз в день погружались для охлаждения.

Добравшись до МТС, я явился к директору Сергею Крейдик, он ожидал меня вместе с главным инженером Артюховым, которого все сотрудники называли просто Фомич. Крейдик был сухой, не улыбающийся, сдержанный, Артюхов, наоборот, полный, веселый, говорливый. Если Артюхов был явно доволен моим назначением, то у Крейдика мое явление вызывало некоторое неудовольствие и замешательство. Оба они:



и Крейдик, и Артюхов – были «Герои Социалистического Труда», оба имели высокий авторитет среди хлопкоробов и руководителей республики. Мое появление им лично ничем не грозило. Но если Артюхов видел во мне будущего помощника и только, то у Крейдика были свои причины для недовольства. Он действительно был специалистом, великолепно владевшим вопросами хлопководства и организации работы МТС, преданный работе вообще и своей новой МТС особенно. В организацию ее он вложил огромные силы, а здоровьем не блистал. Беспокойство его вызывал разрыв семейственности, который существовал в МТС. Дело в том, что две ключевые должности, позволяющие держать в руках и достаточно контролировать всю хозяйственную деятельность, находились в руках его ближайших родственников. Бухгалтер-экономист – весьма ответственная должность – составитель и контролер исполнения финансовых планов, и контролер действий главного бухгалтера – жена Крейдика, а заведующий МТМ – должность, в которую я вступал и которая позволяла контролировать оборот запасных частей, приобретение и пуск сельхозтехники, тракторов, автомобилей и рабочий процесс на территории МТС, занимал младший брат его жены. Таким образом, мое появление как бы нарушало монополию семейства Крейдика на командование

рычагами управления МТС. Тем более что прибыл я из Москвы и черт его знает, какие виды на меня были у начальства. Артюхов, как и Крейдик, имел огромный опыт работы по механизации хлопководства, но не имел высшего образования. Позднее я узнал, что Крейдик потерял здоровье, самоотверженно работая в тяжелых условиях Вахшской долины, и Артюхов не терял надежды занять его место. Следует отметить, что встретили они меня спокойно и благожелательно, и Крейдик определил мне штатную квартиру главного специалиста МТС, хотя я был один, единственным моим багажом было солдатское одеяло, и вполне был бы удовлетворен, получив для жилья маленькую комнату. Так как все работники МТС вели собственное автономное хозяйство и общественного питания, кроме небольшой закуской, не было, а молодая энергичная жена Крейдика держала корову, она предложила мне утром и вечером покупать по литру молока. К обоюдному удовольствию, договор состоялся.

Буквально со следующего утра я начал вникать в МТСовскую жизнь и работу. Большинство работающих были так называемые «спецпереселенцы». Их состав характеризовал направленность репрессий, обрушивавшихся на те или иные народы и слои населения в разные годы. В зоне нашей МТС находились немцы Поволжья, немцы Украины, крымские татары, литовцы, русские «кулаки» и украинские «националисты», отбывшие срок заключения, но не имевшие права вернуться на родину и, наконец, небольшое количество полячек и так называемых самарских проституток, которые были выдворены из Куйбышева в преддверии переезда туда Совнаркома в начальный период Великой Отечественной войны. Во время моего пребывания постоянная контрольная проверка-регистрация переселенцев была отменена, но запрещение на выезд действовало и отменялось с большими перерывами для каждой категории отдельно. Первыми получили разрешение на выезд полячки и литовцы.

Все переселенцы жили под прессом Указа Верховного Совета СССР от 26 октября 1948 г., содержание которого ясно из заголовка: «Об уголовной ответственности за побеги из мест обязательного и постоянного переселения лиц, выселенных в отдаленные районы Советского Союза в период Великой отечественной войны». Эти «обязательно и постоянно» переселенные лица мужественно трудились



во славу Советского Союза и терпеливо ждали решений о разрешении возвратиться на свою родину. В годы моей работы в Таджикистане такие решения только начали созревать для ничтожного меньшинства переселенцев. В то же время за все время моего пребывания в Вахшской долине я не слышал ни об одном случае побега спецпереселенцев.

В Вахшской долине в полях в январе никаких следов снега не было, и солнце ласкало землю и людей. Я приступил к работе в МТМ. Первый, с кем пришлось иметь дело, был сельхозмеханик Лиференко (бывший «бандеровец»). Хитроватый, веселый, не дурак выпить, Лиференко до моего приезда получил задание от Артюхова собрать рамы для сцепления зерновых сеялок, которые из ГУТАПа (организация, занимавшаяся распределением и поставкой сельхозтехники) были привезены в МТС в разобранном виде.

Техника была не сложная, но требовала или предыдущего опыта общения с ней, или умения разобраться в прилагаемом заводе руководстве. Ни того, ни другого у Лиференко не было. Не желая показать ни незнания, ни неумения, он исхитрялся делать работу, советуясь со мной по поводу сборки. Посмотрев чертежи, я тут же показал ему, что и куда необходимо привинтить, и получил первые очки в завоевании авторитета. Впрочем, мой авторитет установился сразу. Мне были недоступны две вершины: колоссальный практический опыт Артюхова и высочайший инженерный уровень родившегося в Крыму Умера Эшриврта – «строителя корабля» из Ленинграда, «волей партии» и случайных обстоятельств попавшего в «спецпереселенцы».

История Умера полностью втискивалась в рамки произвола власти того времени. Отец его был связан с красными партизанами и погиб во время врангелевских времен в Крыму. Умер рос без отца, под опекой местной власти, хорошо учился в школе, и после её окончания в виде поощрения был послан в Ленинград, где окончил судостроительный институт. После окончания института был направлен на один из Ленинградских заводов



и отлично работал на строительстве военных кораблей. За эту работу он был награжден орденом Ленина. В конце войны, в 1944 году, после освобождения Крыма он получил командировку, не помню точно, но, кажется, для осмотра и оценки состояния производственных возможностей одного из Севастопольских заводов, и, как он говорил, у него было неудержимое желание посетить родное селение. К несчастью, он приехал домой в момент, когда производилось массовое выдворение жителей. Никто его не слушал, документы отобрали и обещали разобраться по прибытии на место. К моему приезду «разбирательство» длилось уже 10 лет, и Умер работал бригадным механиком во 2-й Октябрьской МТС. Между нами с первых дней установилось дружеское взаимопонимание, которое сохранилось до моего отъезда в Дагана-Киикскую МТС. Во 2-й Октябрьской МТС был еще один крымский татарин, вызывавший всеобщее восхищение. Невысокий, спокойный, пожилой человек в Крыму работал токарем на Севастопольском морском заводе. Во время немецкой оккупации он выбрался из города и потихоньку жил в одном из татарских селений, занимаясь сельским хозяйством. Но это не спасло его семью от депортации. Он был токарем фантастической изобретательности и мастерства. Ввиду отсутствия в МТС фрезерного станка он спроектировал и изготовил своими руками делительную головку, с помощью которой на токарном станке нарезал прямозубые и косозубые шестерни с достаточной для автомобилей и тракторов точностью. За время моей работы в МТС не было токарной или фрезерной работы, которую он не смог бы выполнить на стареньком, изношенном станке. У токаря был взрослый сын, который работал дежурным механиком на дизельной электростанции МТС и постоянно опаздывал на работу. Его напарником был немец Иван Гольфингер, совмещавший дежурство на дизеле с работой токаря и шофера на бензовозе. Этот Иван был истинный «работник» в самых анекдотичных немецких традициях. В свободное от дежурства на станции время он подрабатывал токарем. Токарь он был неплохой, хотя до депортированного татарина ему

было ой как далеко. Он никогда не опаздывал, не прогуливал, не отлынивал от работы. Зато, как только раздавался звонок на обед или кончалось время смены, немедленно прекращал работу. На электростанции это приводило к постоянному конфликту, так как его не волновало, явился или не явился на смену его напарник. Вышло время, он глушил дизель, оставляя МТС в темноте. Если обеденный перерыв заставлял его во время токарной работы, он немедленно отводил резец, хотя нарушенная настройка требовала потом массу времени для возобновления работы.

Наш юный татарин плохо кончил. Территория МТС не охранялась, мастерские и гаражи просто запирались в нерабочее время. Склад, которым заведовала моя верная помощница Маша Мережникова, надежно запирался. Сама Маша тоже была надежна. Она кое-что по мелочам выдавала шоферам и трактористам без моей подписи, но помалу и малodeфицитное. Меня это не тревожило. Я на это смотрел сквозь пальцы, тем более, что ее муж был лучший шофер МТС. С территории МТС стали пропадать крупные узлы и детали, но никто не попадался. Это вызывало раздражение и подозрения. И вдруг, в обеденный перерыв, Артюхов, приехавший неожиданно на мотоцикле из колхоза им. Молотова, засек нашего юного дизелиста, выносившим со двора поддон от картера трактора «универсал». Ценность не бог весть какая, но факт есть факт. После громкого скандала сообщили в районную прокуратуру, и в МТС состоялся выездной суд. На суд прибыла районный прокурор, мечта всех мужчин Вахшской долины, великолепная, могучая красавица-таджичка Рахимова. Наша чернобровая, высокая, подвижная прокурорша отлично говорила без всякого акцента по-русски, по-таджикски, по-узбекски. Все мужчины, стоящие рядом с ней, даже самые яркие, казались малозначительными и серыми. Может быть, так и было на самом деле. Прокурор произнесла не длинную, но достаточно убедительную, со знанием состояния дела обвинительную речь, и наш преступник получил, не помню точно, два или три года условно. Пропажи в МТС прекратились. Перед судом с прокурором беседовал Артюхов и просил дать максимум, а потом робко беседовал я и высказал мнение, что уже само проведение суда носит показательный и воспитательный характер, преступление незначительно, большинство рабочих и так уже находится «в зоне» и что-то еще в этом роде. Не уверен, что прокурор вняла моей просьбе, скорее, она имела свое мнение, а Фомич не был для неё авторитетной фигурой. Факт, что об этом суде много говорили, и авторитет нашего великолепного прокурора ещё больше вырос.

Все же должен отметить, что адресаты моего направления в Таджикистан – Москва, ЦК КПСС и Министерство сельского хозяйства СССР, Управление Средней Азии и Закавказья – служили для меня некоторым зонтиком, иногда защищали от гнева начальства, а иногда являлись причиной их покровительства. Подтверждают эту мысль, мне кажется, следующие события.

Первое. Я полностью овладел работой мастерской, ремонтные работы выполнялись успешно и быстро, выполнялись в первую очередь работы для тракторов и сельхозтехники, поломанных на полях. Росли доброе отношение и уважение ко мне механизаторов. Я начал обходиться без обращений к Артюхову. Фомич был немного этим уязвлен и ревностно относился к моим успехам. Для того, чтобы указать, кто здесь хозяин, он учредил список дефицитных материалов и запчастей, которые отпускались со склада только по его разрешению. В числе этих материалов был баббит для заливки подшипников. Однажды он уехал в один из колхозов и найти его, практически, было невозможно. В районе был установлен порядок технического обслуживания автомобилей начальства. Первого секретаря райкома обслуживала самая мощная и квалифицированная 1-я Октябрьская

МТС, расположенная в районном центре рядом с райкомом в поселке Октябрьский, второго секретаря – Стахановская МТС, действовавшая с довоенного времени и, наконец, председателя исполкома – наша, новая и еще недостаточно оснащенная МТС. В отсутствие Артюхова к нам приехал шофер председателя исполкома и стал требовать, чтобы мы исправили подплавленный подшипник с его машины. В принципе, работа была пустяковая, и мы справились бы с ней за полчаса – час. Но я решил поиграть в дисциплинированную принципиальность и сказал, что для использования баббита нужно разрешение главного инженера, и указал Маше баббит не выдавать, пока мы не получим разрешение. Все были взвинчены, шофер звонил в исполком, председатель был в бешенстве, шумел на меня, а я ссылаясь на строгий приказ, и секретарша Дуся обзванивала все колхозы в поисках Артюхова. Его нашли только на второй день. Подшипник залили, Артюхов страшно злился на меня, а я спокойно ссылаясь на его же приказ и принципы дисциплины. После этого я получил «высочайшее разрешение» в особых случаях его нарушать. А не особых случаев у нас не было, беспрерывно возникали критические ситуации, кроме того я сам себя осудил за глупую принципиальность. Пошел сев хлопка 1954 года, затем культивация, уборка хлопка, льна, подготовка комбайнов к уборке пшеницы, стрижка баранов, а то что-либо случалось у районного начальства.

Следует сказать, что по природе я не вреден и всегда старался принимать все меры для исправления положения. По какому-то случаю я был у Сердюкова, видимо, история с баббитом дошла и до него, и он с улыбкой спросил меня, как это я устоял под давлением начальства. Я очень уважал Сердюкова – он был фронтовой офицер, потерявший глаз на войне. В районе он имел прозвище «Кутузов». Я ответил кратко в военном стиле: «я только исполнял приказ». Он с улыбкой произнес: «ну-ну» и все. А разносы он умел делать потрясающие. Помню как-то раз, собрав всех председателей колхозов и руководство трех МТС района, он стучал кулаком по столу и кричал: «Вы что себе думаете, что я одноглазый, ваши фокусы не вижу? Я одним глазом всех вас насквозь вижу!».

Когда республиканский госпиталь инвалидов Отечественной войны дал заключение, о необходимости изменения характера работы, мне выдали бесплатную путевку в Цхалтубо, да еще решили оплатить проезд туда и обратно. И оплатили мое грандиозное путешествие туда через Туркмению и Азербайджан – обратно через Москву. И, наконец, ЦК Таджикистана, выпустивший постановление, по которому коммунисты-специалисты могли покидать республику только по его разрешению, крайне неохотно давал такое разрешение, Сердюков дал мне такое разрешение с первого захода, правда, по заключению республиканского госпиталя инвалидов ВОВ. Но об этом дальше.

Два года моей жизни в Октябрьском районе – это непрерывное выполнение и обеспечение сельхозработ. По старым записям восстанавливаю дни этой жизни.

1954 год. Начало января. Похолодало. Несколько раз снегопад. Снег сразу тает. Выборка остатков хлопка, уборка гуза-паи (остатков кустов хлопчатника).

21.01. Начало общего подъема зяби и завершение уборки гуза-паи. Район выполнил план хлебосдачи государству за 1953год.

29.01 Задул «афган», принес мелкий морозящий дождь. Работы продолжают, даже уборка гуза-паи.

- 5.02. Пахота в основном закончена. Теплые ясные дни.
- 21.02. Повалил снег, с проталинами лежал до 26 февраля.
- 19.03. Пробный сев хлопка. Цветут урюк, персики, алыча. Вовсю зазеленела люцерна. Все деревья зеленые.
- 28.03. Посеяли треть площади. Первые посеы дали всходы.
- 10.04. Сев в основном закончен.
- 20.04. Установилась жаркая погода. Началась массовая культивация. Первый покос люцерны (всего три покоса). Всего провели 7 культиваций и три опрыскивания всех посевов хлопчатника..
- 28.09. Выполнено 35% контрактации по хлопку. В сентябре МТС выполнила план по хлопку по всем колхозам, урожайность тонковолокнистого хлопка по зоне 22,3 цга.
- 1955 год.
- Январь, февраль – стоит теплая сухая погода.
- 20.02. Начался мелкий морозящий дождь, но большую часть дня все же сухо. Кое-где зацвел урюк.
- 6.03. Начали пробный сев.
- 8-13.03. Наступило похолодание, сев прекратили. Первые значительные осадки с начала сезона.
- 10.03. Сев в основном закончен.
- 10.04. Температура ночью упала до 0. Всходы выпали.
- 16-17.04. Начало пересева..
- 2.05. Окончили пересев. Похолодание, дождь. Всходы слабые. Загнивание.
- 04-05.05 Частичный второй пересев. Дождь. Мгла.
- Июль. Заедает паутинный клещик.
- 09.09 Районный слет «Праздник урожая».
- 25.11 Урожайность по району. Тонковолокнистый хлопок 17 ц/га
- 13.12 Выполнено 80% контракции
- 4.2 Выполнение государственного плана. Награждение района орденом Ленина.

В этом перечне еще отсутствуют работы по севу и уборке зерновых, двукратная стрижка баранов, землеройные работы по совершенствованию водосистемы и др.

Ход работ был непрерывный и очень напряженный. В 1941 году я уже работал трактористом на тракторе СТЗ и комбайнером на «Коммунаре» в колхозе Боровецкое, зимой окончил курсы механиков и немного поработал в совхозе «Комсомолец» в Набережно-Челнинском районе Татарской АССР. Кроме этого, перед отъездом в Таджикистан я основательно проштудировал литературу по дизельным тракторам и их ремонту. Не могу сказать, что я блестяще без труда справлялся с возникающими задачами, однако литературу необходимую я с собой захватил и преодолевал проблемы поддержания парка,

день ото дня набираясь практического опыта. Бригадные механики и трактористы торопились вернуться на поле и всегда помогали мне советом и активной работой. Кроме основной работы, я был в курсе постоянно происходящих вокруг метаморфоз. Отмечу некоторые из них, без которых жизнь казалась бы более скучной и однообразной. Одной из таких историй была эпопея с выполнением республикой обязательств по молоку. Если с отарами баранов дело было привычное для таджиков и узбеков – летом их уводили на отгонные пастбища, зимой спускали в долины, сложности возникали лишь два раза в год во время стрижки в период перегонки, с коровами было очень сложно. Их было мало, некоторые по весу были меньше гиссарских баранов, молоко они давали, хотя и высокой жирности, но в малом количестве.

И вот однажды в Сталинабад по линии продовольственной торговли, для центрального гастронома, прибыла с севера целая тонна масла. Масло передали в городской гастроном. Решение у руководства республики созрело мгновенно, и заработал следующий конвейер. Колхозы один за другим покупали эту тонну и сдавали ее заготовительным организациям в счет поставок молока. В сравнительно короткое время республика выполнила план сдачи молока, которого никто так и не увидел. Но положение колхозов по сдаче натуроплаты по животноводству существенно укрепилось. Все все знали и молчали.

Вторая метаморфоза по проблемам животноводства происходила постоянно методом «контрольного перемера земельных карт». Суть ее заключалась в следующем. Весной происходил контрольный замер полей колхозными землемерами. Надо учесть, что зарплата землемера была минимальной, а «раис» (председатель колхоза) был существенно заинтересован в уменьшении площадей под хлопок, чтобы получить повышенную урожайность. От нее проистекали премии, награды, вплоть до звания «Героя Социалистического Труда», так что ничтожная, с точки зрения раиса, и, огромная, по понятию землемера, подачка, разделяла поля в пользу люцерны, в ущерб хлопку. Но приходила поздняя осень, хлопок сдан, и подходил срок платить натуроплату за работы по животноводству. Тут и выплывал большой объем работ по обработке полей люцерны. А за работы МТС по животноводству натуроплата должна была платиться продуктами животноводства. Тут вновь возникали землемеры, перемеривали люцерновые поля, которые еще являлись необходимым объектом севооборота, и соответствующее соотношение должно было выдерживаться в определенной доле ко всему полю. Одна и та же землемерная карта по люцерне составляла 25-30 га, а под хлопок 15-18 га.

Так продолжалось каждый год, начальство скромно опускало глаза, никто не искал истины, и все были довольны. Пусть «плюнут мне в рыло», если мои воспоминания вызывают недоверие или подозрение к председателям хлопковых колхозов и директорам совхозов. Это были самоотверженные, волевые, компетентные люди, которые каждый день балансировали между выполнением плана, волей начальства и положением своих тружеников.

А в Вахшской долине это были люди коренного населения, переселенцы из «бесперспективных» районов республики, добровольные тюркские переселенцы из европейских районов России: татары, башкиры, чуваша, которые искали в Таджикистане лучшей доли, близкие по языку таджикам осетины и, наконец, спецпереселенцы разных времен и причин, в том числе русские «раскулаченные» и украинские националисты, отбывшие свой срок, но лишённые права проживать на Родине.

Приведу пример «борьбы» раисов за свои права, против навязываемых привилегий. По итогам 1954 г. все председатели колхозов были премированы

автомашинами «ЗИМ». Премия была своеобразна – стоимость автомобилей, 40 тыс. рублей, должна была быть оплачена из колхозных средств. И вот все райсы отказались, несмотря на уговоры районных властей. Все они, видимо, по сговору стояли на том, что их вполне устраивает «Волга», а «ЗИМ» в условиях плохих дорог и множества арыков не обладает нужной проходимостью.

В то же время некоторые председатели вели тонкую и опасную игру за получение почетного звания «Герой социалистического труда». Главным критерием, по которому Президиум Верховного Совета СССР присваивал председателю колхоза высокое звание «Героя социалистического труда», было достижение установленной правительством весьма высокой урожайности хлопка со всех плановых площадей колхоза. Уследить, с какого поля привезен хлопок, было практически невозможно, особенно в условиях, когда все доступные площадки и километры дорог были засыпаны подсыхающим хлопком. Два, а то и три райсы вступали в «тайный сговор», передавая часть своего хлопка, достаточную для перевыполнения норматива урожайности третьему. В этом году он становился «героем», а через год – два «сверхнормативная» урожайность хлопка достигалась в другом колхозе.

При этом следует отметить, что упорный и напряженный труд земледельцев Вахшской долины в 1954 г., когда Никита Сергеевич Хрущев посетил Таджикистан, был отмечен урожайностью хлопка наивысшей в мире, т.е. выше, чем в США и в Египте. Египте.

В начале весны 1954 года я познакомился с нашим министром Абдуллаевым, и до моего отъезда он относился ко мне доброжелательно. Знакомство произошло следующим образом. У нас не хватало сеялок для хлопка, да и те, которые были, находились не в лучшем виде. Вышло так, что я, взлохмаченный и запыленный, прямо с поля поехал в Сталинабад и зашел



На снимке: участки совхозов: (слева направо) Д. Абдуллаев — агроном совхоза им. Мушкетера, Н. Н. Пашаев — главный агроном Второй Октябрьской МТС; В. Л. Тарский — заводской мастерокон. З. Ф. Октябрьской МТС; Сайбатдыев — агроном-механик колхоза им. Махметова, С. Исмаилов — председатель колхоза им. Мушкетера, С. Дюбеков — агроном Второй Октябрьской МТС; А. Н. Левин — председатель колхоза им. Бороздина; Н. Н. Кочетов — главный механик Сталинабадской МТС. Фото И. ТЕМНОВА.

в управление с просьбой помочь нам сеялками. Работники аппарата были уже знакомы со мной, но вытащили разнарядку, утвержденную министром, где все было поделено поровну по количеству и срокам между северными и южными районами. Однако в Вахшской долине сев уже начался, а на севере республики должен был начаться через месяц. Я получил сочувствие, но не больше. Тогда я, возбужденный, направился к кабинету министра и вступил в бурный разговор с его помощником Болотиным. Кстати, позже у меня с ним установились вполне дружеские отношения, и он не раз оказывал мне помощь словом и делом. Пока мы шумели, министр вышел из кабинета и спросил, в чем дело. Я сбивчиво объяснил. Абдуллаев внимательно меня выслушал, а потом с улыбкой сказал: «Спускайся вниз в парикмахерскую, пусть тебя там умоют и причешут, а потом приходи ко мне», а затем распорядился принести ему злополучную разнарядку. Я выполнил волю министра. Внизу была парикмахерская, где мастером работал бывший учитель. Он отлично вымыл мне голову и навел необходимый порядок в волосах. Я поднялся наверх, и Болотин пропустил меня к министру. Он взглянул на меня, улыбнулся и сказал, что внес уточнения в разнарядку и передал ее в управление. Я поблагодарил и вышел.

В исправленной разнорядке нам за счет северных районов дополнительно выделялось три хлопковых сеялки, что на тот момент как-то решало наши задачи. С этого дня я, приезжая в министерство, прежде всего шел в парикмахеру, который приводил меня в порядок и излагал последние городские сплетни. Добрые отношения с министром и парикмахером длились до самого моего отъезда. Второй добрый поступок министра по отношению ко мне произошел после внезапного явления в республику Н.С.Хрущева. Хрущев вместе с Булганиным после дружеского визита в Индию на обратном пути совершили вынужденную посадку в Сталинабаде, так как Ташкент по какой-то причине не принимал самолеты. Я в этот момент находился в Сталинабаде по делам ГУТАПА и видел развитие событий. Каким-то образом весть о прибытии Хрущева мгновенно разнеслась по всему городу, и на повороте с аэродрома возле сельхозтехникума собралась огромная толпа, перегородившая движение. Несмотря на все уговоры и усилия милиции, кортеж правительственных машин был заперт. Но хитрое решение было найдено. Хрущев с помощью охраны взобрался на крышу автомобиля и объявил, чтобы ему дали пройти до техникума, где он выступит с балкона. Действительно, широкий балкон на фасаде техникума господствовал над площадью. Толпа расступилась, и Никита Сергеевич прошел в здание техникума, входы и выходы которого были перекрыты милицией. Затем он благополучно убыл с заднего двора, а разочарованной толпе предложили разойтись.

Хрущев действовал активно и стремительно. Он съездил в Вахшскую долину, вернулся в Сталинабад и созвал партхозактив республик Средней Азии и Казахстана, проведя который отбыл в Москву. В Вахшской долине он осмотрел хлопковые поля и технику, участвовал, скорее главенствовал, на шашлыке, устроенном в его честь на самом большом ковре Советского Союза. Свое выступление он начал очень мирно и рассказывал, как его и Николая Александровича Булганина принимали в Индии. Хотя Булганин в то время был еще маршалом Советского Союза и председателем Совета Министров СССР, Хрущев, подшучивал над тем, что Булганин не мог есть острые индийские закуски, а он ел и похваливал. В результате индусы одобрили поведение Хрущева и решили, что Булганин не понимает Индии. Затем он перешел к другому и сказал, что здесь его кормили прекрасным шашлыком из мяса гиссарского барана, что он съел столько, сколько дома не съедает за неделю. «Действительно, мясо превосходное, но если наши уважаемые товарищи Бободжан, Гафуров и Джабар Расулов наденут костюмы из шерсти гиссарского барана, их милые жены откажутся идти с ними в театр» Далее следовала программная речь об ускорении развития в Таджикистане тонкорунного овцеводства.

Во время партхозактива в Сталинабаде он все время обращался к опыту и высокой урожайности хлопка в республике. На реплику Усмана Юсупова, председателя Совета министров Узбекистана, что в Таджикистане солнца больше, он тут же со знанием дела отпарировал: «Солнце тому лучше светит, кто лучше умеет им пользоваться. Всем хорошо известно, что Сурхандарьинская и Кашкадарьинская области Узбекистана находятся на широте южных районов Таджикистана». На этом активе было решено организовать в Ташкенте на базе ТИИМСХа трехмесячные курсы, на которых предусмотреть знакомство с переделкой техники на суженые междурядья.

К неудовольствию Артюхова, от Таджикистана был направлен я, единственный представитель республики, с задачей пройти курс и передать другим то, что наработали сами. Конечно, большая часть мероприятий была наработана до меня и без меня, но Абдуллаев, который подписал приказ, видимо, думал, что я не подорву авторитет Таджикистана. Во время пребывания в Ташкенте я вместе с доцентом института Н.П.Поликутиным

написал статью о приборах для настройки агрегатов на суженые междурядья. Мы направили ее в журнал «Хлопководство» в Москву, статья напечатана не была.

Полным уважением к Абдуллаеву я проникся в начале осени, когда аппарат министерства со знаменем на автобусах прибыл в наш район для ручной сборки хлопка. В то время в МТСах были лишь шпindelные хлопкоуборочные машины, которые выдирали волокно из коробочек, наматывая его на вертикальные быстровращающиеся стержни (шпиндели). Они были спроектированы для уборки низкорослого хлопка так называемых «советских» сортов. Рабочая высота шпинделя была 90 см. У нас же в тот год основным был тонковолокнистый хлопок «нулевка», высота которого иногда превышала человеческий рост, вот и дергали вручную все жители республики – от школьника до министра.

Я был в числе людей, встречавших министерскую колонну, и стал невольным свидетелем поведения министра. Видные сотрудники министерства предлагали организовать «штаб» уборки. На что Абдуллаев ответил: «Тут есть руководители от колхоза, а наше дело очищать коробочки» и одним из первых отправился на сбор. Мне показалось, что руководители последовали за ним с некоторым неудовольствием. Он работал на совесть до самого конца «воскресника», видимо, у него был опыт с молодых лет, собирал он не плохо. За сбор тонковолокнистого хлопка платили 4 рубля за каждый собранный килограмм, причем плата выдавалась немедленно, и в зависимости от способностей мы работали парами или тройками на бутылку коньяка. В то время таджики и особенно таджички собирали, как правило, в два – три раза больше нас грешных.

Многолетний опыт давал себя знать. Сборка хлопка в республике была и праздник и мука. На перекрестках возле базаров милиция устраивала засады. Один из милиционеров садился в кабину грузовика и направлял машину на дальний участок, откуда пешком было невозможно выбраться. Только вечером, когда начинало темнеть, машина и люди освобождались. Школьники, студенты – все мобилизовывались на уборку хлопка. Важно было собрать хлопок доморозными сортами, то есть до выпадения дождей или заморозков. Только такой хлопок принимался высокими сортами. Россия со своими уборками картошки и капусты никогда не приближалась к такому энтузиазму и произволу, которые царили на сборе хлопка в Таджикистане.

Итак, я был командирован в Ташкент. Артюхов яростно обозлился, но ничего не поделаешь – приказ министра. Есть справедливость на земле. Летом он добился отказа мне на поездку инструктором на Кавказ на горно-туристский сбор общества «Урожай» и в отпуск под предлогом напряженности работ в МТС, а сам съездил в Москву на ВДНХ и сходил в отпуск, оставив меня в сумме на сорок дней главным инженером с сохранением работы в МТМ. Все-таки Бог все видит, правда не скоро скажет. Единственной компенсацией мне была серебряная медаль ВДНХ..

В Ташкенте у меня были три основные точки: студенческое общежитие, где меня разместили, собственно институт ТИИМСХа (Ташкентский институт ирригации и механизации сельского хозяйства) и квартира моего двоюродного брата Яши Левина. Все бы



хорошо, но расстояние между этими точками довольно большое, а транспорт в Ташкенте был не блестящий. В общежитии мне выделили место в комнате на четверых с интернациональными соседями, командированными на курсы.

Самым приятным и близким мне соседом оказался кореец, механик одной из МТС Узбекистана Пон Ен. Он принадлежал к одной из первых волн спецпереселенцев могучего Советского Союза. Его семья в числе многих тысяч корейцев была выдворена с Дальнего Востока в целях укрепления «национальной безопасности». Корейская эмиграция в Россию началась еще во времена Российской империи. Пон Ен принадлежал к той ветви корейцев, которые бежали в Приморье почти сто пятьдесят лет назад от тяжелейшего гнета и нищеты феодального господства. Как он рассказывал, его иммигрировавшие предки были приняты в российское подданство в начале XX века, так что он был урожденным гражданином Советского Союза. Корейские эмигранты в основном занимались сельским хозяйством, но значительная часть их работала на золотых приисках и рабочими в городах. К началу 1908 года в России проживало около 110 тысяч корейцев, из которых около 75% были заняты в сельском хозяйстве.

По отчетным данным российских властей в сельской местности в это время проживало 80778 корейцев в 11466 дворах, а на городских землях 25618 лиц в 6348 фанзах. Во все время переселения и до настоящего времени у них не было своего административного и территориального образования. Корейцы, проживавшие на родине, постоянно подвергались японскому давлению. В связи с этим отношение к России в большой степени определялось состоянием русско-японских отношений. В период до первой мировой войны они относились к русским как к своим защитникам. Доходило до того, что король Кореи Коджон в 1896 г. двенадцать месяцев пребывал в русской миссии. В годы Первой мировой войны, когда Россия и Япония выступали союзниками против Германии, отношение корейцев к России похолодало и, наконец, после Октябрьской революции, когда борьба с японской оккупацией стала органической частью жизни Народной республики и Советской власти корейцы безоговорочно повернулись в сторону Советов.

Корейцы активно участвовали в Октябрьской революции, создали многочисленные национальные партизанские отряды, сражались в рядах Народно-революционной армии Дальневосточной республики.

Утверждение сталинской диктатуры в тридцатые годы принесло прямую физическую расправу с корейскими партийными, государственными и военными кадрами, а также с деятелями науки и культуры, а само корейское население, жившее на Советском Дальнем Востоке, стало в стране Советов первой нацией, подвергнутой репрессивному переселению. В 1935 году произошло расформирование двух корейских национальных полков, а их командный состав был репрессирован. А в «славном 1937» корейцы Дальнего Востока были



насильственно переселены в районы Казахстана и Средней Азии. Корейцы были реабилитированы в общем потоке реабилитации постановлением от 1 апреля 1993 года «О реабилитации российских корейцев».

Во время учебы мы посетили корейский колхоз и корейскую МТС недалеко от Ташкента. Колхоз был процветающий, председатель имел высокую трудовую награду звание «Герой социалистического труда». Меня поразило, что в МТС были вполне трудоспособные лигроиновые тракторы С-60 довоенного выпуска. Я поделился своим изумлением с Пон Еном. Он изложил мне корейский подход к технике. «Не бывает плохой и старой техники, бывают плохие хозяева: если все время любовно относиться к машине и вовремя заменять изношенные узлы и детали, а не давать им разваливаться, машина может работать вечно». Я проникся корейским отношением к технике и разработал для себя тактику круглогодичной работы в МТС.

Эта тактика оправдала себя, и, к удивлению министерства, одна из самых задрипанных МТС республики в 1956 году вышла на 1 место по выполнению плана тракторных работ. Когда я принимал МТС действовавшая техника по сравнению со списочной имела недостачу около 5 млн.рублей. При сдаче Феде МТС в феврале 1957 года я имел действующей техники на 8 млн. рублей больше списочной и завещал Феде свои методы содержания и использования автомобилей, тракторов, сельхозмашин. Претензий ко мне со стороны района и министерства не было, и я был удостоен звания «Заслуженный механизатор сельского хозяйства Таджикской ССР».

Меня поразило благосостояние корейского колхоза и роскошный прием, оказанный нам в этом колхозе. Пон Ен разъяснил мне вынужденную нехитрую технику сельского бытия. Руководство районом постоянно устраивало в колхозах различные «посиделки», привозило туда гостей для демонстрации «показухи», наконец, отбывая в центр или на курорт требовало от председателей наличность «на достойную жизнь». Что делал колхоз? При обмолоте риса он часть зерна оставлял в соломе, которая хранилась до нового урожая. По мере необходимости солому подмолачивали, добытый рис везли на базар, продавали и так выходили из положения. Милиция и все соответствующие органы были осведомлены, получали свою долю и не вмешивались. Работая в Дагана-Киикской МТС, я достоверно убедился, что то же самое наши раисы делали с пшеницей. Рис у нас, к сожалению, не произрастал.

Кроме Пон Ена, в комнате жили Долгов и Юмангулов. Жили мы вполне мирно, комната наша считалась самой веселой в общежитии. У нас постоянно кто-то был в гостях, выяснял технические или бытовые вопросы.

В Ташкенте работал мой двоюродный брат Яков Александрович Левин. Он работал начальником военной кафедры в медицинском институте. Не знаю точно истоков его деятельности, но, насколько его помню, он был полковником, военным врачом. Кругом его деятельности вначале было исследование защиты организма при действии отравляющих веществ, а в последнее время – радиоактивности. В конце войны и после ее окончания он работал в г. Калинин, в академии тыла. Возможно, что постоянное общение с отравляющими веществами вызвало у него сильнейшую астму. По рекомендации врачей, он сменил место жительства и получил назначение в Кишиневский медицинский институт. В то время я особенно сблизился с ним.

Летом 1949 года умерла мама. Яша, так в нашей большой семье звали по традиции этого солидного полковника, пригласил мою младшую сестру Ингу и меня провести лето у него в Кишиневе. Это было противоречивое время. Цветущий Кишинев, где нищие крестьяне и безработные искали средства существования. Ведро отличных абрикосов отдавали за 20 копеек, а литр отличного молодого вина стоил 40 копеек. Соседка Яши по огромной квартире

была вдовой Главного инженера Плоештинского нефтекомплекса, принадлежавшего до войны Ройял Шелл. Сын ее был студентом физико-математического факультета Кишиневского университета. В 1940 году они воспользовались правом возвращения уроженцев Бессарабии с территории Румынии в Россию, установленным договором о возвращении Бессарабии Советскому Союзу. Во время войны ее муж работал в Оренбурге, где и умер, а она с сыном вернулась теперь уже в Молдавскую ССР. Предметом ее тайного конфликта с сыном-комсомольцем была банковская книжка отца, на которую ему в банке в Джакарте откладывались в прошлые времена дивиденды и премии. На книжке было не много, не мало более ста тысяч фунтов стерлингов. Сын настаивал, чтобы она незаметно уничтожила эту «компрометирующую» книжку. Сильно бедствующая женщина не могла на это решиться и советовалась со мной (москвичом, фронтовиком и членом партии). Я понимал, что власти смогут получить по книжке так нужные государству фунты, и может быть, отдадут ей какую-то сумму в рублях. Поэтому я посоветовал обратиться с этой книжкой в республиканский банк.

В результате к окончанию университета и распределению сына на работу преподавателем в глухую горную деревушку, а позже в город Бельцы они получили меблированный дом и, кажется, около ста тысяч рублей. Я был бесконечно рад, что по моему совету в конце концов и овцы остались целы и волки вполне сыты. Благополучие нашего пребывания в Кишиневе нарушали периодические тяжелые приступы астмы у Яши. Жена его была в санатории, и ведение хозяйства и уход за Яшей были на плечах Инги, закончившей в том году школу. В конечном итоге, врачи рекомендовали Яше переезд в район с более сухим климатом, и его перевели на военную кафедру в Ташкент.

Я часто навещал его, особенно первые недели, в которые у нас не начинались занятия из-за неполного сбора «учащихся». На этот раз семейство Левиных жило в половине двухэтажного дома, квартира занимала два этажа. Другую половину дома занимала директор какого-то строительного института с мужем – русским, возвращенным в Россию из Харбина после вступления наших войск в Манчжурию, и огромной немецкой овчаркой, которая терроризировала всех обитателей остальных домов двора. Однажды и я стал жертвой неприятного эпизода, имевшего, впрочем, очень приятные последствия. Я выходил от Яши, направляясь в институт. В это время муж директрисы выгуливал свою овчарку. Чем-то я ей не угодил, и она, тихо подбежав ко мне сзади, схватила зубами мой правый локоть. На этом наша встреча завершилась, и овчарка так же тихо убежала в другой угол двора. Я с гневом обрушился на «харбинца», он же, ничего мне не ответив, быстро ушел домой вместе с собакой. Я вернулся к Яше и от него узнал, что я не единственная жертва овчарки, но что обращения и заявления жителей двора в милицию ни к чему не привели. Мой укус был ничтожный, я был в американской кожаной куртке, и зубы овчарки лишь немного повредили мою кожу. В доме у Яши было все необходимое, ведь и он и его жена были врачами.

Мне промыли и забинтовали ранку и посоветовали на всякий случай сделать укол против бешенства. Я направился в поликлинику и оттуда через милицию дали предписание директорше сделать собаке проверку на бешенство. Меня направили на уколы. Уколы делали две сестры. Одна оказалась из нашего общежития и, как я точно знал, жила с одним из наших механиков. Вторая, которая меня колола, была узбечка по имени Умриджан. Она была мала ростом и очень миловидная. Но потрясло меня другое. После семи сквозных и слепых множественных ранений я научился терпеливо, но без удовольствия переносить внедрение медиков в мое тело. Меня предупредили, что уколы от бешенства очень болезненны, и я собрался достойно перенести предстоящий укол. Умриджан сделала укол, я не смотрел

на шприц и ничего не почувствовал. Умри сказала одно слово: «Всё». Тут я внимательно посмотрел на нее и увидел, что она красивая и добрая. Каждый последующий укол я смотрел на нее с восхищением и благодарностью. Увы, цикл уколов еще не окончился, я не успел прояснить отношения с Умри, как пришло сообщение, что у овчарки нет бешенства. Что оставалось делать бедному инженеру? Я вновь отправился в поликлинику, и сообщил, что меня опять укусила другая собака. Из регистратуры меня вновь направили на уколы. Я пришел к девочкам и сообщил эту новость. Но, видимо, внешность моя и мое радостное настроение это не подтверждали. Умри попросила меня показать укус, и я был разоблачен.

Но все же моя самоотверженность была оценена, и мы договорились вечером пойти в кино. В это время в Ташкенте шел многосерийный «Тарзан». Я отправился в кинотеатр. Несмотря на дневное время, в кассу стояла длинная очередь, к которой я присоединился. Время шло, а очередь не двигалась. Я отправился к окошечку, посмотреть в чем дело. Дело было в том, что желающих взять билеты вне очереди было больше, чем желающих получить их по закону. Решив навести порядок, я протиснулся к кассе и отстранил молодого нахала, который отталкивал стоящих в очереди женщин и совал деньги кассирше. Парню это не понравилось, учитывая, что он представлял компанию из трех-четырех человек, стоявших рядом. Нарушитель повернулся ко мне с кулаком и ударил в грудь. Действуя совершенно автоматически, я подсек его, опрокинул на спину и обхватил руками шею. При этом я остался совершенно беззащитным перед его приятелями, которые могли меня хорошенько отвалтузить. Помощь явилась неожиданно. В очереди был один из наших курсантов. Он обратился к компании со следующим возгласом: «Что вы, ребята, ведь он же контуженный, – указывая на меня, – он убьет одного из вас, и ему ничего не будет». Реплика соответствовала моему поведению, и ребята отступили. Тут женщины, стоявшие первыми, с опаской глядя на меня, предложили мне взять билет без очереди. Забыв, что я борец за справедливость, я взял два билета на вечерний сеанс, поблагодарил товарища из ТИИСХа за помощь и удалился. Затем вернулся в поликлинику, и договорился с Умри о встрече. «Тарзана» мы посмотрели с удовольствием. После кино я проводил ее домой. К себе она меня не пустила, я же, вспомнив уроки Осетинского, пригласил ее в театр, на этом мы расстались. Мое знакомство с Умри совпало по времени с гастролями в Ташкенте Майи Плисецкой. Ее появление внесло невероятное оживление в театральную жизнь города. Плисецкая дважды выступала в «Лебедином озере» и дважды в концертах, правда во второй раз не в театре, а в зале «Свердлова», так как театр был занят под совещание по вопросам хлопководства.

Второй раз «Лебединое озеро в Средней Азии» соединяло меня с женщиной. Мы отправились в театр Навои. Это прекрасное сооружение соединяло творческий полет Щусева, вековые традиции и мастерство народных резчиков по камню, и, наконец, трудолюбие и старательность японских военнопленных. По моим тогдашним понятиям, театр был сокровищем простоты, изящества, уюта и удобства.

Но любовь моя с Умри-джан не состоялась. В Ташкент приехал в командировку мой туристский друг, выпускник Московской сельхозакадемии, инженер-электрик Иосиф Невелев. Мы познакомились в январе 1951 года в лыжном походе второй категории трудности по Карельскому перешейку, Приозерск – Сума – Выборг – Ленинград. Этот поход был организован Центральным Советом ДСО «Наука», его организаторами были прославленные в то время туристы, мастера спорта СССР Л.С. Кронф и А.А. Власов. Поход был увлекательным, а его участники стали друзьями на много лет. Мы с Невелевым часто встречались в Москве, а наша

дружба связана с товарищескими услугами. Так, Невелев во время подготовки дипломной работы неожиданно получил путевку в альплагерь «Алибек». Он страшно переживал, что от путевки придется отказаться. Я выдал ему «идею» взять в качестве дипломной работы разработку малой электростанции для лагеря «Алибек». Руководство лагеря и институтское начальство согласились. Самое неправдоподобное было, что проект был выполнен на «отлично», и электростанция была построена. Помимо сельской электрификации, Невелев увлекался фотографией и постепенно стал профессиональным фотографом. В качестве «ответной услуги» со стороны Иосифа хочу отметить организацию запроса со стороны Центрального Совета ДСО «Урожай» к руководству министерства сельского хозяйства ТССР на командирование меня в качестве инструктора на сбор туристов на Кавказ. Министр, однако, решил, что хлопок важнее туризма, и меня не отпустили. Но это никак не повлияло на наши с Иосифом дружеские отношения.

Итак, Невелев прибыл с двумя своими сотрудницами по своим сельхозэлектроделам, и, естественно, все мое свободное время переключилось на общение с этой компанией. Учитывая, что и мой кузен Яша обижался на меня и предстояла встреча Нового года, моя дружба с Умри-джан отошла на второй план.

Москвичи не были перегружены работой, и мы уделяли время кино и театрам. В лучшем кинотеатре Ташкента «Родина» посмотрели двухсерийный индийский фильм «Бродяга». Чудесная музыка и непритязательное содержание при искренней игре Раджа Капура и Наргис трогали душу. До сих пор помню мотивы: «... исправить трудно жизнь мою, но с легким сердцем я пою...» В театре «Навои» прослушали «Лейли и Меджнун». Музыка Глиэра и исполнение были на уровне, но слушал я один, так как Иосиф был в подпитии и продремал всю оперу. В Театре ТуркВО смотрели пьесу Константина Симонова «История одной любви».

Доцент ТИИМСХа Николай Павлович Поликутин, за которым укрепилось прозвище «первый тракторист Средней Азии», крупный специалист по системе настройки и контроля сельхозмашин по приборам (шаблонам), уговорил меня написать статью в журнал «Хлопководство». В статье нужно было рассмотреть эти вопросы применительно к системе машин для сева и обработки хлопчатника с изменяемым интервалом между растениями, разработанной нами в Таджикистане. Мне неудобно было отказаться, о чем я жалел. Его методы, как и наша методика, уже были описаны, а в их соединении не было ничего принципиально оригинального. Но из уважения к штатному преподавателю я согласился. Пришлось тратить время и на это. Статью мы отправили, но печатать ее не стали. Новый год встречали с Иосифом у Яши, а потом два дня провожали старый в гостинице «Ташкент» в №45. Благо его сосед пришел на третий день в 5 часов утра.

Наконец курсы завершились, экзамены сданы на отлично, я получил институтское удостоверение «Об окончании курса усовершенствования» и стал вполне аттестованным механизатором сельского хозяйства. Итак, я снова в МТС. Встретили меня очень по-дружески, гораздо лучше, чем я ожидал. Не всегда правильно оцениваешь свои отношения с коллективом. С места в карьер меня назначили пропагандистом и, слава богу, освободили от обязанностей председателя рабочкома. Мои отношения с невероятно привязавшейся ко мне Лидой, из севастопольских немцев, переселенных вместе с татарами, автоматически прекратились. Ее увез бывший любовник, полковник, освободившийся из тюрьмы. Я его никогда не видел, но история его, по ее рассказам, примечательная.

Полковник во время войны, по рассказам Лиды, был начальником разведки Карельского фронта и имел множество наград. После войны он

приехал в Ашхабад, где работал директором автотранспортного предприятия. У него были конфликты с руководителями города. Однажды был объявлен авральный субботник по заготовке саксаула на топливо. Полковник накануне взял большую сумму денег из кассы без оформления для оплаты шоферов и запер в своем сейфе. Утром пришли представители органов и обвинили его в хищении. Никакие доказательства и уговоры не помогли. Ашхабадский суд дал ему 10 лет без лишения наград. Видимо, не хотели обращаться в Верховный Совет СССР. Но дело все же дошло до Москвы, было пересмотрено, и, отсидев всего два года, полковник вышел на свободу и увез свою (мою) Лиду. Лида жила в Октябрьске, а у нас она обшивала немецких переселенцев. Пока она жила во 2-й Октябрьской, мы предавались любви на природе. Когда же она вернулась домой, я с вечера уезжал к ней на велосипеде, а рано утром возвращался на работу, совершая 20-километровую тренировку. Это помогло мне выполнить норму 3-го разряда на велокроссе общества «Урожай». Я сохранил о Лиде самые добрые воспоминания, она поднялась до такого уровня, что нашла время приехать и проститься со мной. А так как в прошлом постоянно рассказывала о своем полковнике, который подобрал ее и согрел несколько лет, мне осталось только пожелать ей счастья.

С приездом я с головой окунулся в работу. Нужно было срочно запустить в дело кучу оборудования, поступившего за время моего отсутствия: стенд для испытания дизельной топливной аппаратуры, вулканизационный аппарат, стотонный пресс для сборки гусениц трактора С-80, два гаражных крана, автомобиль ЗИС-5. Дуновение решений сентябрьского пленума ЦК КПСС в какой-то степени докатилось и до Вахшской долины. Пришлось также срочно монтировать новую электростанцию взамен разбитой в мое отсутствие. Новый движок «Комсомолец Казахстана» оказался очень надежным, освободил меня от постоянной трепки нервов на весь хлопковый сезон и удовлетворительно работал до моего перехода в Дагана-Киикскую МТС.

Постепенно нежное весеннее тепло преобразовалось в тягучую знойную духоту, пыль повисла над Вахшской долиной, окружающие горы затянулись дымкой, небо из голубого стало пепельно-серым, задернулось клочьями легких марлевых облаков, которые не спасали от солнца. Тень не несла прохлады. Проведенное земное и авиационное опыление хлопчатника истребило последних насекомых. Ни пчела, ни муха не оживляли своим жужжанием окружающее пространство. Китайские практиканты-энтомологи тщетно искали «образцы» для исследований. Липкий пот облепил все тело. При движении по дорогам машины поднимали долго не спадающие облака пыли, которые словно полосы дымовой завесы закрывали видимость. Пассажиры на машинах тщательно задраивают окна, опасаясь ожогов. Движение в этом году усиленное. Машины чуть ли не лоб в лоб выныривают из пыльных облаков. На Перепадной в решающую фазу вступило строительство, и «МАЗы», особенно ведомые расконвоированными заключенными, царственно несутся, занимая почти всю ширину дороги, исполненные презрением ко всем прочим участникам движения, ныряют в пыльное море ловкие «пассажирки», стараясь не «целоваться» с самосвалами. Все – независимо от первоначальной окраски, пепельно-серое.

На полях умолк могучий гул гусеничных тракторов, поднявших землю, и только жужжание стоек «универсалов», завершающих сев и начинающих культивацию, подкормку, опрыскивание, нарезку борозд, будет продолжаться до самой осени, когда хлопкоуборочные машины и тысячи «добровольцев» набросятся на хлопчатник, выдирая волокно из коробочек.

А пока я с искренним восхищением и непониманием смотрю на таджикских трактористов, обрабатывающих хлопок. Если на гусеничных

машинах работают в основном спецпереселенцы из европейских районов, то на культивации способны работать только таджики и узбеки. В условиях неимоверной жары и пыли они час за часом, день за днем бороздят свои участки с весны до осени. На каждом тракторе умелыми руками сооружен «холодок». Так называют брезентовый навес, защищающий тракториста и мотор от испепеляющих солнечных лучей. Удивительно, но Владимирский тракторный завод, выпускающий десятки тысяч «универсалов», ничего не предпринимает для оснащения тракторов укрытием от палящего солнца. Хлопок не терпит, когда о нем забывают хотя бы на миг, и вот герои – трактористы от восхода до темноты гладят и царапают пространства полей от посева до сбора хлопка. Здесь все подчиняется требованиям сохранения и роста тонковолокнистого хлопка. Полвека прошло, а я до сегодняшнего дня восхищен героями битв за хлопок не меньше, чем солдатами, шедшими в атаку на белорусских холмах и болотах.

Время не тянулось, а напряженно летело. Ломались тракторы и сельхозмашины. Для стрижки овец напряженно готовились машинки и электрооборудование, а ветврачи и зоотехники отбыли на отгонные пастбища. Животноводческий коллектив состоял во 2 Октябрьской из четырех человек. Двое зоотехников прибыли в МТС при мне, после окончания института. Главным зоотехником, «естественно», был назначен сын второго секретаря ЦК Таджикистана, Обносов, второй был очень подвижный и работающий, помню, что его звали Митя. Более колоритными фигурами были ветврачи. Главным ветврачом был отсидевший свой срок украинский националист по фамилии Датий. Как и всем переселенцам, выезд за пределы Вахшской долины и окрестностей ему был запрещен. Его жена Тася работала заведующей аптекой в колхозной больнице. Про Датия упорно ходили слухи, что он за взятки давал колхозам справки, в которых лжесвидетельствовал о смерти баранов в результате простудных заболеваний и травм при перегонах. Но слухи – только слухи, они стойко ходили про всех ветврачей, и Датий постоянно верхом объезжал отары, оказывая необходимую ветпомощь. А вот случай, который привел его к ненависти со стороны Крейдика, произошел у меня на глазах. Как-то вечером после работы я прогуливался по территории МТС, которая была великолепным оазисом среди хлопковых полей. В сумерках показались два всадника, которые направлялись к ветлечебнице. Я узнал Датия и Крейдика и незаметно подошел к лечебнице с другой стороны. Всадники спешили, вошли в домик, и я услышал следующий разговор. Крейдик: «Терпения нет, зуб нарываает». Датий: «Не бери в голову; мы его мгновенно уберем». Я сразу понял, что оба в хорошем подпитии. Этим обычно кончались визиты руководителей МТС к раисам колхозов. Крейдик: «Чем это ты сделаешь, у тебя же только скотский инструмент». Датий повторил: «Не бери в голову, я свое дело знаю; невозможно подсчитать, сколькой скотине я зубы драл!». Крейдик: «Но я же не скотина». Датий, видимо, взял щипцы, я не видел, что происходит внутри, только слышал. Крейдик: «Это ведь лошадиные щипцы». Датий: «Ну да, дерну и не почувствуешь. Какой зуб дергать?». Крейдик, видимо, показал. Раздался хруст, а затем его крик: «Твою мать! Это же здоровый зуб!» Снова послышался хруст и снова тот же крик. После этого дня Крейдик возненавидел Датия лютой ненавистью.

Хлопок, чигирь (лен-кудряш), пшеница, землеройные работы, встречи, контакты с начальством и работниками соседних МТС, женщины, наконец, занимали почти все, остающееся ото сна время суток. Периодически однообразие жизни прерывалось поездками в Сталинабад, другие МТС, другие районы. Дорога в Октябрьск (районный центр), остававшийся в категории «кишлак», которую я поздним вечером и ранним утром преодолевал на велосипеде, шла по равнине, полностью занятой хлопковыми полями. Она

была однообразна и малоинтересна. Совсем иной характер имела верхняя дорога в Стахановскую МТС, которая располагалась в поселке Вахшстрой, единственном поселке городского типа нашего района. Она шла от Курган-Тюбе сначала по долине Вахша, за которым поднимались горы Кара-Тау, а затем делала дугу на юг, подпертая отрогами гор Чал-Тау. Здесь в предгорье и на плато всю зиму и начало весны зеленела травка. В низинках мелькали участки хлопковых полей совхоза имени Кирова, которые начали осваиваться лишь после 1950 года. Почвы здесь хорошие, и, когда были решены проблемы с водой, совхоз дал самую высокую урожайность по тонковолокнистому хлопку среди совхозов республики. В этот период деятельности Никиты Сергеевича Хрущева происходили постоянные процессы «укрупнения». В Вахшской долине происходило постоянное укрупнение колхозов, в масштабах всей республики было ликвидировано 10 районов. Может быть, в этом было что-то рациональное, но будучи растянутым во времени укрупнение создавало обстановку бесхозяйственности и безответственности. В районе Стахановской МТС я узрел большие массивы небранной гуза-паи. На мой вопрос директор не очень убедительно предположил, что это, видимо, полосы отчуждения, переданные Нижне-Варзобстрою.

Дважды ездил я на пограничную с Узбекистаном станцию Регар, позднее после смерти выдающегося писателя Таджикистана, переименованную в Турсунзаде. Первый раз поездка сорвалась из-за сильного снегопада. Зато второй раз все было прекрасно. Выехали вечером, так что удалось в очередной раз с перевала увидеть сверкающий огнями Сталинабад. Зрелище это потрясающее, оно просто заколдовывает, можно часами любоваться без отрыва и без разговора. На обратном пути из-за тех же снегопадов пришлось задержаться в Сталинабаде на пять дней. Пошел с Машенькой в оперу на «Бахчисарайский фонтан». Девочки танцевали неплохо, особенно Полякова-прима-балерина, прибывшая из Москвы. Полутемный зал на этот раз показался приятнее. Зал был как бы уютнее и интимнее. Может быть, музыка Асафьева и радость тихого общения с Машей... Вообще, как говорил мой «старший советник» Осетинский: «не скверно». Сам старик стал побаливать, ноги – плохо ходить. Он лежит в номере и похрипывает.

Другой вид развлечения и разнообразия жизни – туевание. В нашем районе проведение туев (особенно по поводу обрезания и свадеб в семьях руководителей) приняло такой широкий размах, что даже орган компартии Таджикистана «Коммунист» посвятил этой проблеме свою передовицу. В некоторых «туях» участвуют сотни людей, и стоят они десятки тысяч рублей. В ходе туя, кроме бесконечных пловов, чаев, танцев, проводятся еще официально запрещенные «козлодранья». Это потрясающее зрелище. Группы всадников на откормленных обученных конях стараются для одного из своих фаворитов захватить лежащего в определенном месте барана и, проскакав с ним установленный маршрут, бросить его, где положено. Беда в том, что все остальные стараются этому помешать и отобрать барана... Зрелище почище любого футбольного матча.

Я задумывался, почему в ЦК решили меня послать в Таджикистан, где среди «посланцев сентябрьского пленума» не было ни одного посланца из РСФСР. Продолжить расшифровку моих распределений, кроме воспоминаний об окончании «Станкина» и недремлющем оке наших органов, мне помогло внимательное перечтение романа Бруно Ясенского «Человек меняет кожу». Главное, что я впитал из романа, кроме строительной и любовной шелухи, было подчеркнутое внимание недремлющего всеохватывающего ока ОГПУ, которое было столь вызывающим, что, видимо, привело самого Ясенского

к трагическому концу. Не могу отказать себе в удовольствии процитировать некоторые выдержки из романа.

«Комаренко сел на коня и шагом пересек площадь, окруженную бараками...» Далее следует анализ мыслей и решений уполномоченного ОГПУ. «Комаренко тронул повод. Ему не раз приходилось заглядывать в чужую мысль, следовать по ее задворкам. В этом, черт побери, и заключалась одна из сторон его деятельности, А другая? Как семейный врач этих мест, он знал тут наперечет всех. Встречаясь с людьми, он не различал их по цвету волос, по окраске кожи, по внешним отличительным признакам. Он распознавал их, как врач распознает старых пациентов, по особенностям их внутренней комплекции: не высокий блондин, а увеличенная селезенка, не коренастый рябой, а камень в печени, не грудастая рыжая, а расширение аорты. В окружающих людях Комаренко видел то, чего не мог разглядеть в них никто. В лице светлоусого механика, изуродованного небольшим рубцом, похожим на обычный шрам от пендинки, он видел застрявшую и не вытасценную белогвардейскую пулю, раздробившую это миловидное лицо еще в те времена, когда вместо гармской тубетейки его украшала фуражка с врангелевской кокардой. В глазах неказистого встречного дехканина, окучивающего хлопок, премированного ударника и бригадира, в искусном взмахе уверенной руки, поднимающей кетмень, он видел блеск кривой басмаческой сабли, отрубившей головы трем пленным красноармейцам и напоследок собственному курбашу. Глядя на печально улыбавшийся свежий рот увядающей шатенки, жены главного кассира строительства, проходившей часто мимо его окон с сумкой за продуктами, он видел в нем не искусно спрятанную золотую коронку, а жесткий комок неразжеванных бумаг, проглоченный этим улыбающимся ртом в день неожиданного обыска на квартире первого мужа мадам, начальника охранного отделения».

Кажется, этого достаточно для характеристики ОГПУ, но «бедный» Ясенский шагает дальше, роя себе глубокую могилу. «Он видел их в процессе их длинного становления, со всем грузом их социальной биографии. Люди проходили перед ним, как товарные поезда, обросшие на очередных станциях длинной цепью вагонов. Он осматривал их безошибочным взглядом – простой стрелочник на пути, ведущем в социализм, – осматривал и пропускал дальше; редкие, те которые не в состоянии были туда дойти, не сворачивая на запасной путь, в ремонт, очень редкие в тупик, в утиль сырье». Ну, что твой Господь со своим чистилищем, адом и раем.... «Городок спал, на котловане кипела работа. За все это отвечал он, Комаренко: за спокойный сон городка, за бесперебойный стук трактора, за нормальную работу всего строительства. Чувство большой ответственности не тяготило, наполняло приятной гордостью. Уполномоченный широко расправил грудь и подобрал повод».

Да, возможность направить человека в утильсырье уполномоченного не тяготила и наполняла «приятной гордостью». Времена изменились с тридцатых годов, но тысячи и тысячи немцев, русских, украинцев, крымских татар, литовцев продолжали находиться «в ремонте». Постепенно пути изнашивались, и поезда, и вагоны рассыпались в разные стороны, а «отвечавшие за спокойный сон и бесперебойный стук колес» спрятались в тень. Теперь, много лет спустя, заглядывая в прошлое, я думаю, что неослабное око «железнодорожников» при направлении меня в Таджикистан проанализировало мои испанские приключения и клинские события и «послало вагон на правильный путь».

Прошло более полувека, как я волею судьбы был послан в «зону». Там я, вместе с таджиками, узбеками, локайцами, немцами Поволжья, немцами Украины, крымскими татарами, литовцами, а также русскими, кулаками и украинскими «бендеровцами» и другими «спецпереселенцами», отбывшими

срок наказания, но не имевшими права вернуться на родину, постигал тонкости богарного и поливного земледелия и отгонного животноводства. Постигая тонкости хлопководства, льноводства, выращивания кукурузы и пшеницы в условиях принудительно насажденного советской властью режима, мы множеством людей разных национальностей, религий и убеждений реально осуществляли дружбу народов.